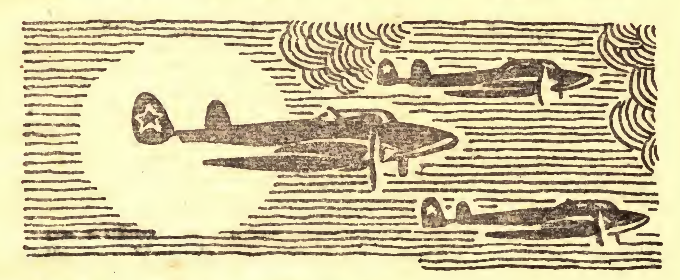

Юрий Белостоцкий
Небо хранит тайну

ЮРИЙ БЕЛОСТОЦКИЙ



НЕБО ХРАНИТ ТАЙНУ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Казань 1972

Р2
Б43

Юрия Белостоцкого читатели знают по книгам о летчиках «Самолет идет над полями», «Крутой вираж», «Ночной гость», «Боевые крылья», «Короткая спичка» и другим.

Новая книга писателя также посвящена летчикам, мужественно выполнявшим свой долг перед Родиной в годы Отечественной войны, их ратным подвигам в воздушных схватках с врагом. Главное место в ней занимает повесть «Небо хранит тайну», в которой автор рассказывает о тяжелых испытаниях, суровой правде тех незабываемых лет.

В книгу включены также повесть «Огненная метель» и рассказы.

7—3—2
56—72М

КОРОТКАЯ СПИЧКА

I

Короткая спичка досталась Рапохину.

Рапохин подавил вздох, молча надел пилотку и, провожаемый насмешливо-сочувственными взглядами, направился к выходу.

— Поосторожнее там,— для очистки совести крикнул ему вдогонку штурман Серебряков.— Штаб все-таки.

— Ладно,— вяло пообещал Рапохин.

Захлопнув за собой дверь, он зябко повел плечами, нерешительно переступил с ноги на ногу.

Дождь кончился. Отшумел свое ветер. На низком северном небе, уже наполовину очистившемся от облаков, звезды вышили первые узоры. Ярче других, почти над головой, цедя на землю тонкие, холодные струи света, висел ковш Большой Медведицы. Под ним, тесня кучевку, ширя за ее счет круг — чтоб было где разгуляться! — водили хороводы звезды помельче, еще ниже — вовсе мелюзга.

Швырнув в лужу обжегший губы окурок, Рапохин запахнул комбинезон, привычным движением оправил ремень с пистолетом и неслышно зашагал к штабу.

Эскадрилья, в которой он служил, только сегодня перелетела на новый аэродром — за три с половиной месяца войны четвертый по счету. Землянку ей отвели возле штаба дивизии, обосновавшегося в трех бревенчатых домах за неделю до этого. Землянка оказалась сырой и холодной, с неплотно закрывающейся дверью. Но хуже всего — не было дров, чтобы истопить печь. Правда, Серебряков сбегал за охапкой еловых веток, но, вымокшие под дождем, они, сколько он ни пыжился, ни

дул на них, не загорались. Плеснуть же керосину пожалел: в лампе, что свисала с потолка пока незажженной, его и так было на донышке. Отчитав ни за что ни про что усердно помогавшего ему молодого летчика Власова, Серебряков отошел от печки, раздраженно глянул в окно — и тут взгляд его посветлел. Сквозь мутное, в дождевых подтеках стекло он разглядел возле штаба дивизии соблазнительно высившиеся пирамиды дров.

Это все и решило.

Из трубы ближайшего дома валил густой белый, точно разбавленный молоком, дым — дров там, видать, не жалели. Дым путался в верхушках высоких сосен, что надежно маскировали штаб с воздуха, и повисал там, как вата. Окна в доме изнутри были завешены. Поленница стояла справа от него, почти у самого, в три приступка, крыльца с небольшими перильцами. Подойдя к ней, Рапохин заколебался — вдруг кто выйдет? Но вспомнив, что в нетопленной землянке его ждут продрогшие друзья, а от охапки дров штаб дивизии не обеднеет, привстал на цыпочки — иначе не дотянешься, высоко — и ухватил сразу три полена. Серебряков как в воду глядел: дрова и точно оказались сухими, мелко наколотыми. Рапохин потянулся в другой раз, но в тот же момент услышал позади себя звонкий, нетерпеливый голос:

— Подождите, Прокопий Иванович, я помогу...

Голос был, несомненно, женский. И верно, когда Рапохин обернулся, он увидел молодую — почти подростка — девушку в кожаном, без ремня, реглане и берете. Как ни щекотливо было его положение, он все же успел разглядеть, что она была невысокого, скорее даже маленького роста, с худощавым, нездешнего загара, лицом и темными, верно, завитыми природой, волосами, явно не хотевшими мириться с тесным для них беретом. И еще — у нее были удивительно яркие, чуточку миндалевидные голубые глаза и вовсе не капризный и тонкий, как можно было бы предположить по голосу, а крупный и сочный рот. Короче, оторопевшему летчику она показалась необыкновенной, и он буквально пялил на нее глаза, вместо того, чтобы положить дрова обратно, извиниться, а еще лучше — сигануть в кусты. Да и сама девушка, сообразив, что обманулась, что это вовсе не тот, о ком она подумала, а какой-то незнакомый военный паренек, не торопилась нарушить затянувшееся

молчание. Лишь тоже вдоволь наглядевшись на него, она, наконец, отступила назад и спросила настороженно-строго:

— Что вы здесь делаете?

Рапохин, уже придя в себя, невесело улыбнулся и ответил покровительственно:

— Да вы не бойтесь.

— Кто вам сказал, что я боюсь,— в голосе девушки прозвучала насмешка.

— Мне показалось...

— Скажите, пожалуйста, показалось. Дрова ворую не я, а вы. Вам и бояться надо. Вы знаете, кто здесь живет?

— Н-нет.

— Так знайте: командир дивизии.

— Генерал?

— Он самый.

— А вы?

— Его дочь.

— Тогда я пропал,— просто сказал Рапохин и, бросив дрова прямо под ноги, добавил с мрачной решимостью.— Что ж, зовите вашего отца. Зовите! Не бойтесь, не убегу. Кстати, и познакомлюсь с ним. Будет очень интересно. Генерал все же, «его превосходительство». Зовите!

Столь поспешное и откровенное признание летчика, кажется, озадачило девушку. Какое-то время она молча и испытующе глядела на него, потом осторожно спросила:

— А если не позову? Тогда что?

— Тогда я позову его сам,— по-мальчишески запальчиво вскрикнул Рапохин и торопливо шагнул на крыльцо, сразу на верхнюю ступеньку.

Но девушка не дала ему этого сделать. Удержав его за рукава, она почти попросила:

— Не надо. Право же. Это глупо. Отец — строгий человек. Только наживете неприятность. Лучше скажите, зачем вам дрова?

— Грешников в аду поджаривать,— с обидой, на которую он сейчас вовсе не имел права, грубо отрезал Рапохин и тут же закусил губу.— Извините, печку топить, конечно. А то совсем продрогли.

— Вы кто?

— Летчик. На «пешках»[1] я. Сегодня прилетели. Прямо с боевого задания. А в землянке ни щепки. Закоченели. Вот и пришлось тянуть жребий.

— Жребий?

— Да, короткая спичка досталась мне.

— Это интересно: жребий, короткая спичка...

Девушка заметно оживилась и теперь уже с открытым и вовсе не обидным любопытством разглядывала его и чуть заметно, одними уголками полных влажных губ, улыбалась.

— Как же вы тянули этот жребий? Все сразу?

Рапохин рассказал.

— Это же просто замечательно! А как вас звать?

— Меня? Алексей.

— Вот как! Моего отца тоже зовут Алексеем... Павловичем,— пооткровенничала она и вдруг, снова взяв его за рукав, решительно подтащила к поленнице и приказала: — Подставляйте руки! Да смелее же! Ну! — и не успел Рапохин заупрямиться, как она наложила ему целую охапку дров.— Донесете?

— Донесу,— несколько опешив от такого оборота дела, выдавил из себя тот.— Здесь недалеко, рядом,— и, даже не поблагодарив ее, тут же прямиком припустил к землянке, не разбирая ни луж, ни кустарника. На полдороге он притормозил, снова услышав ее нетерпеливый и точно бы капризный голос:

— Если не хватит, приходите еще. Часового я предупрежу.

«Э-э, так я мог еще на часового напороться,— с опозданием прозрел он.— Вот была б потеха»,— и, переведя дух, с облегчением крикнул: — Больше не потребуется. Спасибо! — и снова наддал шагу.

В землянке его встретили так, будто он вернулся не иначе, как с боевого задания:

— Алеша, мы думали,— ты пропал. Без прикрытия ведь ходил. А ты — вот он.

— И без единой пробоины.

— А дровишки — суше некуда. Чисто порох!

Рапохин в ответ лишь как-то ошалело улыбнулся и, с грохотом свалив дрова у печки, не отвечая на расспро-

---

[1] Так среди летчиков назывался скоростной пикирующий бомбардировщик «Петляков-2» («Пе-2»).

сы товарищей, с таинственным видом прошествовал через всю землянку в свой угол и сел на койку отдышаться. Серебряков с насмешливой жалостью поглядел на него, притворно вздохнул: укатали, дескать, Сивку крутые горки. Летчики рассмеялись. Рассмеялся и сам Рапохин. Потом встал, снова оглядел всех по очереди шалым взглядом и только после, все еще тяжело дыша, протянул нараспев:

— Кого я встретил, братцы-ы? В жизнь не угадать.

— Самого, что ль?

— Не-ет, дочку его.

— Иди ты.

— Правда, братцы, ее,— и, собравшись с духом, Рапохин подробно рассказал все, как было.

Летчики понимающе заулыбались, а Серебряков, играя голосом, переспросил:

— И хороша, говоришь?

— Сказано — королева.

— А что она вообще-то здесь делает?

— В личное дело не заглядывал.

— В штабе, наверное, служит,— высказал предположение Константин Хлопунов, стрелок-радист в экипаже Власова.— Писарчуком или машинисткой.

— Под отцовским крылом, значит,— согласился его командир.— Так службу ломать можно.

— У начальства теперь это в моде. Даже своих жен в штабах пристраивают.

— А может, отец просто для антуражу ее за собой по фронту таскает,— многозначительно добавил обычно угрюмый и неразговорчивый Дмитрий Денисов, штурман Рапохина.— Командир дивизии все же, генерал. В его реглане, слышь, и ходит. А я вот,— добавил он сокрушенно,— порядочных штанов не имею, в чужом комбинезоне летаю.

Денисов говорил правду. Весь свой гардероб ему, как и многим в эскадрилье, пришлось в спешке оставить на одном из западных аэродромов еще в первые дни войны. Подняли тогда их по тревоге, средь ночи.

— В твоих штанах теперь, небось, какой-нибудь фриц щеголяет,— подпустил ему ежа за пазуху Серебряков.

— Да уж, верно, щеголяет,— с мрачной улыбкой согласился тот.

— А правда, ребята, что на днях мы новые машины

получаем? — без всякой связи спросил вдруг кто-то из дальнего угла.

— Солдат говорит — приказ будет.

— Ну, это еще бабушка надвое сказала.

— Тогда что же — в пехоту подаваться? Так там, говорят, нашего брата — пруд пруди.

Рапохин обрадовался, что разговор сам по себе перешел на другое. Ему было не по себе, что летчики слишком уж вольно говорили о девушке, даже унижали ее своими догадками и предположениями, хотя никто из них до этого ее и в глаза не видывал. Он незаметно снова вернулся на свое место и, достав папироску, принялся неторопливо покуривать.

В печке вскоре ярко запылал огонь, на потолке и стенах заплясали желтоватые блики и кто-то из ребят уже предлагал «махнуть» по окрестным землянкам в поисках девчат, а Рапохин продолжал сидеть все так же молча и неподвижно и лишь время от времени, не выпуская изо рта папироску, грустно и загадочно улыбался.

Лишь перед сном, раздеваясь, он недоуменно протянул, и то скорее самому себе, чем Серебрякову, койка которого стояла рядом:

— А ведь я, кажись, финку потерял.

II

Рано утром в землянке появился посыльный из штаба эскадрильи:

— Всем быстро на КП! Боевой вылет!

Летчики, сопя спросонья, схватились за одежду.

— Опять, значит, натощак, без завтрака,— пританцовывая на одной ноге, а другой норовя нырнуть в галифе, ворчал Серебряков.— Который раз уже так.

— Самолету легче будет,— невесело отозвался Рапохин.— После позавтракаем.

— Позавтракает, кто вернется...

С заданием на вылет экипажи знакомил моложавый, всегда подтянутый начальник штаба капитан Рассадин. В щегольской темно-синей шинели, в фуражке без единого пятнышка и до блеска начищенных сапогах он являл собою прямую противоположность застывшей перед ним в неровном строю эскадрилье: в ней не было и двух человек, одетых одинаково. Шинели и куртки, регланы и комбинезоны, а то и просто телогрейки,

сапоги кирзовые и кожаные, у кого-то даже ботинки с обмотками, унты с галошами и без галош, фуражки и шлемофоны, пилотки темно-синие и солдатские, цвета хаки,— все это было богато представлено в ней и делало ее такой живописно-пестрой, что с непривычки рябило в глазах. К тому же люди стояли в строю не по ранжиру, как в пехоте, а поэкипажно, где даже самый долговязый стрелок-радист не мог находиться впереди своего низкорослого летчика, и низкорослый летчик — замыкать экипаж.

— Итак, товарищи,— громким, сдобренным неизменной улыбкой, голосом закончил начальник штаба,— вылет через тридцать минут,— затем, вопросительно взглянув на комэска, добавил уж не так звучно:— Без прикрытия...

Рядом с молодцеватым начальником штаба командир эскадрильи выглядел невзрачным и хилым, будто после болезни. Одетый под стать своим «орлам» — в серую, видать, с чужого плеча, шинель и стоптанные сапоги,— он, казалось, чувствовал себя здесь совершенно посторонним, даже лишним, и только когда Рассадин кончил и обернулся к нему с немым вопросом, украдкой подавив зевок, подтвердил равнодушно:

— Да, пойдем без прикрытия...

Строй шевельнулся — его будто качнуло ветром.

Станцию, которую предстояло бомбить, защищали зенитки. Но это было еще полбеды. Главная опасность заключалась в том, что невдалеке от станции, километрах в двадцати, на полевом аэродроме, стоял полк «мессершмиттов», и можно было не сомневаться, что уж они-то не допустят безнаказанной бомбежки станции, разнесут бомбардировщиков в клочья еще до подхода к ней. Не зря же зону, в которую входила станция, летчики с горькой иронией называли «треугольником смерти».

Именно об этом сейчас подумали в экипажах.

Подумал и командир эскадрильи. Но приказ есть приказ, и, чтобы не пускаться в ненужные объяснения, он нетерпеливо дал знак, чтобы люди расходились по самолетам.

III

Бортовые часы на машине Рапохина показывали начало девятого, когда эскадрилья строем «клин», образуя не совсем правильный треугольник — самолет Власова то

и дело приотставал,— вышла на цель. Станция лежала внизу серым грушеобразным пятном. Почти все пути на ней были забиты. Белые паровозные дымки стлались по направлению ветра — на юг, как раз поперек путей и, казалось, делили станцию на равные части.

Припав к штурвалу, Рапохин держал самолет строго по флагману — боже упаси сломать строй на боевом курсе! — и с каким-то злым, леденящим душу нетерпеньем ждал, что вот сейчас, сию минуту, по небу полыхнут зенитки, либо, как снег на голову, свалятся «мессера» — и тогда всему конец. Тогда не будет этого нечеловеческого, до звона в ушах, напряжения, мучительного чувства ожидания, что возрастало с каждым новым оборотом винтов, ни этой нестерпимой рези в глазах, ни заунывного, как панихида, гула моторов. Не будет ничего! Но проходила секунда, другая, а зенитки молчали, «мессера» не появлялись, и Рапохин по-прежнему видел вокруг лишь чистое, без единого облака, небо, двурогий стабилизатор впереди идущего самолета, осколок ржавого солнца на нем, а внизу, под крылом, дымившуюся землю...

Зенитки заговорили лишь тогда, когда на станцию легли первые бомбы, на путях вздулись, как после камня, брошенного в воду, огромные пузыри — командир предусмотрительно вывел свою «семерку» на цель ломаным маршрутом, как раз со стороны солнца, и это сделало ее на первых порах с земли невидимой.

Первый же разорвавшийся снаряд вернул Рапохину утраченное было чувство реальности, словно его взрывная волна, что слегка накренила самолет, мгновенно смыла за борт оцепенение и апатию, толкнула кровь к вискам, высветлила взгляд всегда темных, глубоко запавших глаз. Убрав крен, он зубами сорвал с рук перчатку и глянул под крыло. Зенитки взлаивали не часто и вразнобой, потом перешли на скороговорку: их желтоватые бельма мигали невдалеке от станции, на вершине безлесой сопки.

«Теперь не перестанут, пока стволы не покраснеют,— подумал он.— А у наших так каждый снаряд на счету».

Но зенитки, подвесив в небе, как на гвозди, не больше двух десятков шапок, вдруг, словно подавившись чем-то, смолкли. Рапохин тронул штурмана за колено: теперь гляди в оба, смолкли неспроста, значит, где-то на

подходе «мессера», в своих-то попасть боятся. Жди, припожалуют вскорости.

И верно, едва штурман успел закрыть опустевшие бомболюки — самолет сразу же легонько подкинуло вверх, — как в наушниках раздался тревожный голос стрелка-радиста:

— Истребители!..

Рев моторов тут же оборвался, точно им сунули в глотки по кляпу: сухой треск пулеметных очередей мгновенно заглушил все царствовавшие до этого звуки. Непорочную синь неба вспороли огненные, по-ужиному извивающиеся трассы. Рапохин увидел их и справа, и слева от себя: казалось, неопытная кружевница и вкривь, и вкось делала на небе один стежок за другим, и на какой-то миг он даже ими залюбовался. Но лишь на миг, так как через секунду взгляд его помрачнел пуще прежнего, припухшие веки полумесяцем легли на потемневшие и будто стылые на ощупь глаза — шедший чуть впереди слева самолет Серебрякова вдруг вспыхнул таким ослепительно-ярким пламенем, что он втянул голову в плечи, точно оно могло достать его взметнувшимся по-лисьи пушистым хвостом. Ему почудилось даже, что от пламени в кабине стало жарко, рога штурвала накалились докрасна.

...Самолет Серебрякова какое-то время шел прямо и вровень со всеми, потом начал терять скорость, приотставать, а когда Рапохин снова заставил себя посмотреть в его сторону, он уже лежал на левой плоскости и медленно скользил вниз, как раз на круглое, как блюдце, озерко. Почти у самого озерка встречный поток воздуха вырвал из его хвоста несколько рыжих клочьев, которые, повисев немного, один за другим погасли.

А «мессершмитты», дав эскадрилье крохотную, чтоб опомниться, передышку — Рапохину ее хватило лишь на то, чтобы облизнуть ставшие нестерпимо сухими губы,— уже заходили на новую атаку, только теперь не с хвоста, а сбоку, справа, почти под углом в девяносто градусов, неожиданно вынырнув там по-щучьи резво и игриво, будто из глубины за мелкой рыбешкой. Качнув крылами и показав бледную чешую животов, они сразу же нацелились на флагмана и пошли на сближение. На этот раз Рапохин их видел хорошо, как на ладони. Ему особенно бросился в глаза ведущий первой пары. Насилуя мотор,

он заметно опередил ведомого, приближался настолько быстро, что буквально распухал на глазах и впрямь походил на щуку, заглотнувшую добычу — не хватало только ощеренной пасти. Рапохин внутренне подобрался, но страха не почувствовал, только злость. Правда, ощущение одиночества и какой-то тошноты все же было, но не они сейчас заставляли его почти вплотную прижиматься к флагману, едва не рубить винтами его стабилизатор и косо прицеливаться к ручке аварийного сброса фонаря кабины, раздражающе красневшей справа. Все это он делал скорее подсознательно, автоматически, по давно выработавшейся привычке, чем из чувства страха...

Огонь «мессершмитт» открыл не сразу, а лишь после того, как убрал небольшой крен, видимо, мешавший ему прицелиться поточнее. Его длиннейшая, как вопль, очередь едва не опоясала все небо. И снова в эскадрилье вспыхнул факел, уже справа от Рапохина, снова, роняя искры, кровоточа огнем, к земле понесся — уже второй по счету — бомбардировщик. Рапохин даже не сразу сообразил, чей, и только когда эскадрилья заново сомкнула строй, понял — Федора Власова, у которого это был первый вылет.

Первый и последний!

Но и «мессершмитт» поплатился за это: не прекращая стрельбы, он сперва вдруг клюнул носом, потом отвесно, как сорвавшаяся с крючка рыба, нырнул куда-то под брюхо эскадрилье и там пропал. После, уже на аэродроме, один из стрелков-радистов божился, что видел, как «мессершмитт» дымил, но врезался ли он горящим в землю или ему все же удалось погасить пламя, точно сказать не мог.

Не видел этого и Рапохин. Взгляд его уже накрепко приковал второй истребитель. Огонь открывать он не спешил тоже, хотел, как и первый, ударить в упор, наверняка, даже шел словно бы по его дымному следу, только без крена. Рапохин успел подумать — и у этого не сорвется, злющий — и, глотнув слюну, с тоской глянул в сторону штурмана. Краешком глаза увидел: штурман сросся с пулеметом, плечи его, в серых лямках парашюта, мелко вздрагивали. Где-то там, в хвосте, бился в ознобе и пулемет стрелка-радиста. И снова — кусок схваченного за горло неба, игривый луч на кабине флагмана, рой огненных, в конвульсиях, ос... А «мессершмитт»

уже совсем рядом, можно, кажется, рукой достать, сейчас, вот-вот, сию минуту, прошьет насквозь, либо винтом изрубит на куски. Но не прошил. И не изрубил. Выпустив лишь короткую, тут же смятую встречным огнем, очередь, он вдруг, отфыркнувшись дымком мотора, круто, боевым разворотом отвалил далеко в сторону. Вслед за ним, даже не попытавшись атаковать, отвалила и вторая, шедшая следом, пара.

Итак — больше не вышло.

Рапохин разжал онемевшие губы. Нижняя оказалась прикушенной.

IV

Зарулив на стоянку, Рапохин из кабины вылез не сразу: не хотелось отстегивать привязные ремни, отключать шлемофон, протискиваться с парашютом через неудобный узкий люк. Откинувшись на бронеспинку, он зажмурил глаза. В кабине тоненько, на разные голоса, жужжали приборы, и это немножко успокаивало. Техник самолета несколько раз вопросительно задирал на него голову, но явно торопить не решался, ходил вокруг да около осторожно, едва ли не на цыпочках и точно побитый. Лишь когда к самолету подкатил бензозаправщик, он раза два напоминающе кашлянул. Рапохин встрепенулся, выбрался из кабины. Кто-то из мотористов тут же сунул ему в рот папироску, другой поднес зажженную спичку, третий услужливо снял парашют.

Время было завтракать, но в столовую он не пошел, направился прямо в землянку. И каково же было его удивление, когда, не дойдя до нее, на тропинке, что сворачивала к штабу, он снова увидел свою вчерашнюю знакомую — дочь командира дивизии. Она явно поджидала его, и Рапохин смутился, не зная, что сулит ему эта встреча. Во всяком случае, сейчас ее он с радостью бы избежал. Не до того. И, принудив себя улыбнуться, он хотел пройти мимо, но она удержала его:

— А вы не очень-то любезны, Алексей. Добрый день!

Вчерашний голос — такой же звонкий и чуточку нетерпеливый. Пришлось остановиться.

— Здравствуйте, рад вас видеть!

— Ну, судя по вашему виду, едва ли,— рассмеялась она, окинув его с головы до ног снисходительно-насмешливым взглядом.

Глаза у нее были вовсе не голубые, как ему показалось вчера, а удивительно синие, цвета спелого василька, и такие родниково-чистые, что хоть смотрись. И Рапохин, сам того не замечая, в упор глядел в эти глаза, как в зеркало, даже не соображая, что надо что-нибудь ответить.

— Вы, верно, угорели вчера? Рано трубу закрыли?

Явная насмешка, намек на вчерашнее, а он опять ни слова, будто это не ему.

В синих глазах девушки вспыхнуло недоумение: стесняется, либо в самом деле угорел. А может, из породы молчунов?

— Я ведь вас еще утром хотела видеть,— после недолгого молчания снова заговорила она, но уже сдержаннее, суше.— Мне думается, эта вещь принадлежит вам,— и протянула ему финский нож с наборной рукояткой в кожаных ножнах.— Сегодня утром возле поленницы его нашел ординарец Прокопий Иванович и передал отцу. Смотрите, на нем инициалы — «А. Р.» Ваш?

— Мой,— признался Рапохин.

— Я так и думала. Тогда благодарите. Кстати, меня зовут Наташей. Благодарите же!

— Спасибо, Наташа!

— То-то. Ведь отец никак не хотел отдать его мне. Он большой любитель холодного оружия. И знаток. У него целая коллекция. Есть даже мачете, наваха и боевой индейский топор. Он и ваш нож хотел к ней приобщить. Еле выпросила. Заупрямился — и ни в какую. А нож у вас и в самом деле замечательный,— похвалила она.

— Не плохой,— вынув его из ножен, согласился Рапохин и вдруг, устремив на девушку изменившийся взор, только сейчас, с опозданием, сообразил, что ведь это никто иной, как ее отец отказал сегодня эскадрилье в прикрытии, послал ее на задание одну-одинешеньку. Знал, что из «треугольника смерти» многие не возвращаются, а истребителей для сопровождения — хотя бы парочку — не дал. И вот двух экипажей как не бывало. А он, «его превосходительство», поди, и в ус не дует, знай себе холодное оружие коллекционирует. И от этой внезапной мысли Рапохин даже изменился в лице: оно у него вмиг посерело, приобрело какой-то землистый оттенок, стало еще более некрасивым.

В синих глазах девушки снова вспыхнуло изумление:

— Вам, видимо, и в самом деле нездоровится?

— Ерунда. Просто голова побаливает,— ответил он внешне спокойно, а про себя подумал с растущей обидой: «На гибель ведь послал, на смерть. Пары истребителей пожалел. Вот тебе и папаша. А она еще посмеивается, ей хоть бы что,— обожгла новая мысль.— Тоже, наверное, хороша». И вслед за обидой к летчику вдруг пришло еще и горькое, как полынь, чувство, что он только что, вот здесь, на этой самой тропинке, под этой вот высокой и стройной, но равнодушной, как осеннее небо, сосной, потерял что-то, обманулся в чем-то дорогом и сокровенном, лишился веры в то, во что так хотелось верить. Перед ним стояла, участливо глядя на него, встревоженная миловидная девушка, а он видел в ней чуть ли не виновника всех бед в эскадрилье, едва ли не кровного врага своего. И боясь, что не сдержится, сейчас наговорит ей бог знает что, огромным усилием воли заставил себя принять равнодушный вид и спросил намеренно учтиво:

— Я вам больше не нужен?

Крутые и необычно длинные, почти до висков, брови девушки взметнулись кверху и тут же опустились вниз.

— Да, не нужны. Идите.— И, резко повернувшись, она первой зашагала прочь.

На тропинке, ведущей к штабу, от вчерашнего дождя остались лужи, и Рапохин видел, как она неуклюже перепрыгивала через них, хватаясь руками за ветки деревьев, чтоб не поскользнуться. Перед поворотом возле особенно большой лужи она все же не утерпела, обернулась, сложила ладони рупором и, уже без малейшей обиды в голосе, крикнула:

— Забыла спросить: как в землянке, тепло?

Рапохин помолчал, потом, не выдержав, вдруг улыбнулся и ответил шутливо:

— Ташкент! Тропики!

V

На другой день, после обеда — с утра почти беспрерывно шел дождь со снегом — эскадрилья повторила налет на станцию. И снова без прикрытия, снова потеряла экипаж. Вернувшиеся с задания летчики настолько

приуныли, что даже не поругивали, как водится в таких случаях, штабное начальство, а лишь горько иронизировали: еще два-три таких вылета, и от эскадрильи останутся рожки да ножки.

Лишь Рапохин попробовал было кинуть камушек в огород командира дивизии, но комэск тут же осадил его:

— Поберегите нервы. Они еще пригодятся.

И Рапохин, проглотив обиду, смолк, больше не проронил ни слова. Придя в землянку, не раздеваясь, лишь скинув сапоги и шлемофон, он грохнулся на койку так, что она под ним прогнулась едва ли не до пола. Лежал так долго, не двигаясь. Мыслей не было. Желаний тоже, разве что раздавить вдруг появившегося из щели на стене клопа. Клоп был худой, полупрозрачный, как слюда,— давно, видать, не нажирался вдоволь — и еле волочил ноги. Сделав нечто вроде «коробочки» вокруг своего «капонира», он взял курс точно к изголовью Рапохина, но, встретив на пути широкий паз, переложил руль влево, как раз к пустовавшей койке Серебрякова. Еще не поздно протянуть руку — и клопу конец, но Рапохин не шевельнулся, и клоп преспокойно пополз дальше, пока не пропал где-то в живописном лабиринте щелей.

Простуженно, с тягучим кашлем, проголосила дверь — в землянку вернулись остальные летчики, те, что помогали техникам латать дырки на самолетах — сувениры о недавней встрече с «мессершмиттами». Рапохин и тут головы не повернул, хотя в другое время спросил бы, много ли оказалось пробоин. Промолчали и пришедшие. Раздевались и ходили они тихо, стараясь не наступать на скрипучие половицы, переговаривались меж собой неохотно, шепотом, точно в землянке лежал тяжело больной или покойник. Лишь кто-то из штурманов, кажется, Дмитрий Денисов, басовито осведомился, не найдется ли у кого бутылки водки, либо, на худой конец, самогону, но, не получив ответа, тоже притих в своем углу, как мышь в норе.

На стене снова появился клоп, уже по другую сторону паза.

«Перебрался-таки,— как старому знакомому, впервые после вылета, улыбнулся Рапохин.— Вот стерва! С характером»,— и, продолжая наблюдать за его лома-

ным, как при подходе бомбардировщиков к цели, маршрутом, незаметно для себя уснул.

Проснулся он поздно, когда было уже темно. Голова болеть перестала. Захотелось курить. Он потянулся к стоявшей рядом табуретке за портсигаром, но рука попала во что-то липкое. Он брезгливо отдернул ее, вытер об одеяло и, нащупав коробок, чиркнул спичкой. На табуретке стоял ужин. Оказывается, Рапохин без просыпу проспал восемь часов, во сне стонал, метался, и будить его пожалели. Ужин принес Денисов. Его легкое посапывание он сейчас слышал из-за фанерной перегородки, где тот обосновался с командиром звена и стрелком-радистом. Свесив ноги с койки, Рапохин взял с табуретки ломтик хлеба, съел его и тут же почувствовал, как от голода свело скулы. Через минуту он съел остальное, даже не разобрав толком, что именно. Сунув порожние тарелки под койку (чтоб утром не мозолили глаза летчикам), он впотьмах подошел к баку с питьевой водой и с наслаждением выпил подряд две кружки. Затем, все также ощупью, вернулся к койке, натянул на босую ногу сапоги и тихонько вышел из землянки.

И надо ж такому случиться: снова повстречался с дочерью командира дивизии Наташей. Несмотря на темень, он узнал ее сразу — и по легкой, точно бы скользящей походке, и характерному наклону головы, хотя на этот раз она была не в берете, а в летном меховом шлеме. Наташа проходила мимо в сопровождении высокого, прихрамывающего мужчины в комбинезоне и тоже узнала его.

— Уж вы не за дровами ли опять? — вместо приветствия съязвила она: пусть, дескать, наперед знает, как обращаться с девушками. Да, видно, пожалев о сказанном, тут же добавила дружелюбно:— Это, Алексей, мой штурман. Познакомьтесь.

Рапохин только сейчас разглядел, что на ремне у Наташи, поверх реглана, был приторочен пистолет, а с левого плеча свисал планшет с картой — неотъемлемые атрибуты тех, кто непосредственно имеет дело с воздухом.

— Так вы тоже летаете? — изумленно протянул он.

— Да, в ночном бомбардировочном полку. На «По-2».

— Вот бы не подумал!

— Почему! Я ведь как раз в начале войны окончила аэроклуб. Ну, и попросилась на фронт, к отцу в дивизию. Как видите, просьбу удовлетворили.

— Даже не верится,— продолжал изумляться Рапохин.— Мы думали, вы машинисткой в штабе служите. Вольнонаемной. С отцом к тому же вместе живете.

— Это мне командир полка разрешил с отцом жить. Он очень симпатичный человек, наш командир полка.

«Попробовал бы он отказать»,— мысленно усмехнулся Рапохин, а вслух проговорил:

— Вот ребята удивятся, когда узнают, что вы тоже летаете.

— Разве они меня знают?

— Как же. Я рассказал. За дрова уж очень вас благодарят,— приврал он, но почувствовав, что краснеет, тут же свернул на другое.— И часто летать приходится?

— Почти каждый день, вернее — ночь. Иногда по нескольку раз.

— Потери как? Большие?

— По правде говоря, не очень. Темнота спасает. А у вас, я слышала, сегодня опять одного сбили.

— Да, а вчера двоих,— подтвердил он уныло.— Без прикрытия ходим,— и Рапохин хотел было пооткровенничать, что это командир дивизии отказывает в ястребках, но то ли погрустневший взгляд девушки, то ли присутствие ее штурмана, а быть может, обычная деликатность удержали его от этого. Неловко кашлянув в ладошку, он только спросил тихонько, почти шепотом:— Значит, на бомбежку сейчас?

— Нет. Сегодня задание особое: вывозить раненых из окружения. С посадкой в тылу.

— Тогда не буду вас задерживать.

— Да, нам пора.

— Ни пуха, ни пера!

— А вам — мягкой посадки на постель.

В землянке он долго не мог отыскать свою койку, а когда отыскал и разделся, со стороны летного поля уже донесся приглушенный расстоянием мягкий рокот моторов — ночные бомбардировщики, видимо, выруливали на старт. На одном из них он представил себе Наташу — в наглухо застегнутом шлеме, в реглане с поднятым воротником и полосками привязных ремней на плечах...

«Чудно! — улыбнулся он и тут же, как человек с не чистой совестью, упрекнул себя за то, что не предложил ей вчера оставить финку у себя. Ведь она так ею восхищалась.— Ну, да ладно. Еще не поздно. Предложу завтра».

С этой мыслью он нашарил под койкой тарелку, энергично вдавил в нее окурок и влез под одеяло.

VI

Подарить Наташе финку Рапохину не довелось — в ту же ночь Наташа погибла.

Об этом он узнал от ее штурмана, которого утром встретил по дороге на стоянку — эскадрилье снова предстояло идти на бомбежку в район «треугольника смерти».

Вот как это произошло.

Полет в расположение наших окруженных войск Наташа совершила довольно спокойно, если не считать, что при переходе линии фронта ее самолет бегло обстреляли зенитки. Благополучно возвратились и остальные экипажи. Словом, задание было выполнено успешно, без потерь, и летчики собирались уже разойтись по землянкам на отдых, как из штаба дивизии поступил новый приказ: в тот же район срочно сбросить на парашютах специальный груз, который только что доставили на аэродром люди в штатской одежде. Близился рассвет, и командир полка, чтобы не употреблять власть, кликнул охотников. Их оказалось шестеро, в том числе и Наташа со своим штурманом. Для доставки же груза достаточно было одного самолета, и командир на миг задумался, на ком остановить выбор. Вот тогда-то Наташа и предложила тянуть жребий: кому достанется короткая спичка, тот и полетит. Командир сперва назвал это ребячьей затеей, потом махнул рукой: валяйте, дескать, тяните, только побыстрее.

Короткая спичка досталась Наташе.

Во время полета она, как всегда, была собранна и молчалива, со штурманом объяснялась больше знаками, чем словами. Несмотря на темень и низкую облачность, цель они отыскали легко, груз сбросили удачно, в точно обозначенный кострами квадрат. Помахав на прощанье крыльями метавшимся на земле в свете огня

человеческим теням, повернули обратно. На обратном пути Наташу словно подменили. Она стала необычно возбуждена, часто оборачивалась к штурману, озорно улыбалась ему, даже пробовала что-то по-мальчишечьи насвистывать.

Перед линией фронта, когда небо на востоке начала размывать бледная полынья восхода, темное, как вывороченная шуба, облако заставило их свернуть с курса, взять немножко левее. Вот тут-то их и обстреляли с земли из пулеметов. Наташа это увидела первой и, отвалив в сторонку, погрозила кулаком остроконечным елям — это от них взбежали в небо огненные змейки. Вскоре такие же змейки появились с другого борта, и одна из них как раз и ужалила Наташу. Штурман догадался об этом не сразу. Сперва ему показалось, что Наташа просто склонилась над приборной доской, либо над картой, и лишь когда она снова выпрямилась, с усилием повернула к нему враз побледневшее, без единой кровинушки, стянутое шлемом лицо и что-то прошептала, понял — задело крепко. Потом, через секунду, Наташа замерла вовсе, голова ее безжизненно свесилась за борт. Самолет тут же завалило в крен, начала гаснуть скорость, и штурману пришлось взяться за второе управление и вести самолет до аэродрома самому.

— Когда я сел, она была уже мертва,— закончил он свой невеселый рассказ.

Рапохин долго и тяжело молчал. Потом спросил одними губами:

— Где она сейчас?

— У отца. Привезли прямо туда. Пока гроб делают. Потом перевезут в клуб.

Рапохин взглянул на часы, затем — на небо.

Небо над аэродромом, не в пример ночному, было почти чистым, по-осеннему прозрачно-синим. Эту синеву особенно подчеркивала правившая на юг дружная стайка белых кучевых облаков. Облако в середине было больше других и своей пышной грудью с темным ожерельем напоминало лебедя, плывущего в окружении только что вылупившихся из яиц лебедят.

— Я хочу ее видеть,— не отрывая глаз от облаков, вдруг негромко проговорил Рапохин.

— Вряд ли это сейчас удобно,— деликатно заметил

штурман.— Я только что оттуда. Там ее отец. Ему, конечно, хочется побыть одному. Стоит ли его тревожить?

Рапохин еще раз взглянул на часы.

— Я должен ее видеть.

Когда он, довольно бесцеремонно оттерев в сторону преградившего ему путь ординарца, вошел в первую комнату Наташиного жилья, командир дивизии, рослый худой старик с бритым затылком, стоял спиной к двери и кому-то вполголоса жестко говорил:

— Нет. Не могу. Даже звена. В истребительном полку лишь десять машин. Десять. Так и передайте: пойдут без прикрытия. Все.

Рапохин понял: разговор шел об их эскадрилье, в истребителях сопровождения им снова отказано, снова, значит, будут и зенитки, и «мессера», и горящие факелом «пешки», но ничего, кроме сострадания и жалости к человеку, отдавшему сейчас этот безжалостный приказ, не почувствовал. Во властном и непреклонном генерале он видел теперь лишь отца Наташи, не больше...

Положив трубку на рычаг, генерал хотел было проследовать в соседнюю комнату, где, как догадывался Рапохин, находилось тело Наташи, но увидев застывшего в смиренной позе незнакомого молодого летчика, остановился, удивленно — точь-в-точь как Наташа — вскинул левую бровь.

— Мне надо ее обязательно повидать,— предупредив его вопрос, почтительно, но твердо заявил Рапохин.

Левая бровь командира дивизии приподнялась еще выше, острые холодные глаза задымились сдерживаемым гневом.

— Вы это могли бы сделать потом,— непреклонным, каким обычно отдают команды, тоном отрезал он, давая этим понять, что незваный пришелец может убираться прочь.— И не здесь,— добавил он, метнув не менее суровый взгляд на высунувшегося из-за двери растерянного ординарца.

Но в Рапохина точно бес вселился: он решил идти напролом.

— Вы же военный человек, генерал. Через полчаса у меня вылет...

Что-то дрогнуло в лице этого сурового и, видимо, беспощадного человека, по нему точно бы пробежала

судорога. Быть может, в этот миг он представил себе свою дочь, вот так же торопившуюся на вылет, чтобы из него больше никогда не вернуться, или вспомнил минуту назад отданный им по телефону приказ, заведомо зная, что выполнение его вряд ли обойдется без крови, или, может, просто своей необычной напористостью Рапохин напомнил ему, что перед горем и смертью все равны, перед ними нет начальников и подчиненных, солдат и генералов, что чины и званья тут ни при чем. Прикрыв глаза желтоватой ладонью, комдив с минуту стоял, как бы силясь вспомнить что-то, потом, еще раз бесцеремонно оглядев летчика с головы до ног (Рапохин готов был поклясться, что на какую-то долю секунды взгляд его задержался на финке), тихо, но тем же жестким голосом спросил:

— Вы ее знали?

— Я ее любил, генерал.

Когда Рапохин вскоре выходил из дома, оставив в изголовье у Наташи, как последнее «прости», финский нож с наборной рукояткой, комдив придержал его за локоть и голосом, вовсе не свойственным ему, проговорил негромко:

— Вы знаете, лейтенант, а ведь второй раз она могла б и не лететь...

Подобная откровенность человека, изо дня в день хладнокровно, казалось, посылавшего полки и эскадрильи на смерть, изумила бы каждого, но только не Рапохина.

— Знаю, генерал,— ответил он.— Короткая спичка,— и, одним махом сбежав с крыльца, ни разу больше не оглянувшись, торопливо зашагал на стоянку самолетов, на которой уже вовсю надрывались моторы.

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ

Ну, еще один, последний полет по кругу — и сержанту Кузькину сам черт будет не брат. Загонит, наконец, свою окаянную судьбу он в мышеловку. А то ведь совсем было отчаялся парень. Третий месяц на фронте, а пороху, как говорится, не нюхивал. Даже перед товарищами стыдно. Кусок в горло не лезет. И все потому, что не повезло, не в сорочке родился. Прибыл из училища, думал: сразу в бой, на бомбежку. А в полку, оказывается, на семнадцать экипажей всего десять машин. По очереди летают. Да и то не все. Потом машин еще меньше стало. Три же месяца назад, в начале войны, ровно тридцать было. Потери уж очень большие. И от «мессеров», и от зениток. Правда, летчики-то, хоть и не все, возвращаются. На своих двоих, конечно, пешочком. Через леса и болота. Один даже спустя месяц пришел. Еле узнали. Был парень кровь с молоком, а тут — краше в гроб кладут. Кожа да кости. И немудрено. Почти одними ягодами питался. Клюквой да брусникой. И борода до пупа — оброс. А в левой ноге — дырка. Пулевая. Немцы отметку сделали, когда через линию фронта переходил. Вроде как на память. Чтоб не забывал. Но вернулся все же, выдюжил. И рад. Аж плакал от радости.

А вот сбитый самолет не вернешь. Факелом сгорает. Один костер остается. Там, за линией фронта.

Теперь же всему этому конец: полк на днях машинами укомплектовали. Полностью. Новехонькими. Прямо с завода. Получит свою и он, сержант Кузькин. Только вот сейчас бы не подкачать. Впрочем, это исключено. Техника пилотирования у него неплохая. Даже больше, чем неплохая. Хорошая, можно сказать. Командир звена только что проверял. Командир эскадрильи — тоже. Вроде и тот, и другой довольны. Хотя давно не летал, с училища.

Так что еще один, наипоследний полет по кругу, еще одна «коробочка» — и Кузькин будет окончательно введен в строй, зачислен в боевой состав полка. А это значит: конец дежурствам по кухне и «теорке», которая ему еще в училище хуже горькой редьки надоела. Конец и насмешкам со стороны девчат. Линия, видишь ли, у них такая — привечать лишь тех, которые на боевые задания ходят. Им, мол, любовь нужней. Им без любви нельзя. А ты, дескать, можешь и подождать. Не к спеху. Теперь, небось, по-другому заговорят.

Только бы облачность не помешала. Вон небо-то как затягивает. Того и гляди дождь пойдет. А уж если пойдет, считай на неделю. Здесь, в Карелии, без этого не бывает. Такой уж характер у здешней осени: зальет, а от своего не отступит.

Но ведь и у него, сержанта Кузькина, тоже характер есть, он тоже не на сырой водице замешан. Даром, что ему лишь девятнадцать. Еще в училище, когда он на спор забрался по водосточной трубе до четвертого этажа и, пропев там от начала до конца авиационный марш, тем же манером спустился обратно, сам командир отряда при всех заявил, что характер у него действительно есть. Напористый. А уж он-то в людях разбирался. Правда, командир тут же, не сходя с места, вкатил ему и трое суток «губы» [1], но за это обижаться нечего. За дело. Набедокурил — отвечай. По чести и по совести. Это же ясно, как божий день. Службу-то Кузькин знает...

А небо все мрачнее. На нем уже почти ни одного просвета. Словно кто его закупорил. Как бы обратно на стоянку заруливать не пришлось. Хотя нет, не придется. Вон командир знак подал. И финишер флаг поднял: взлетай, дескать.

Кузькин откинулся на бронеспинку и плавно, но энергично дал газ. Моторы взвыли, точно от боли, и самолет, распушив хвост, ринулся вперед. Быстро. Кузькина даже в сиденье вдавило. Оторвался от земли, повис в воздухе. Отрыв от земли — самое интересное на взлете. Какой-то миг — и самолет уже невесом. Хотя махина порядочная. Теперь время шасси убирать. Это своего

---

[1] Гауптвахта.

рода шик — в момент отрыва тут же убрать «ноги». Без задержки. Был бы штурман, он убрал. А этот полет без штурмана и стрелка-радиста. Тренировочный. Так положено. И Кузькин, подавшись вперед, перевел рукоятку выпуска шасси на «убрано». Потом, придержав самолет еще немножко над землей, слегка взял штурвал на себя — и земля тотчас же провалилась вниз и будто замедлила бег.

Когда Кузькин делал первый разворот, до нижней кромки облаков оставалось метров сто. А вот перед вторым они оказались ниже. Едва он завалил машину в крен, как правое крыло, задравшись кверху, чиркнуло по одному из них, а у второго точно бы живот вспороло. Облака, небольшие, но по-осеннему плотные, сбитые, попали и под винты. Их тут же разорвало в клочья и кинуло под фюзеляж. Кузькина даже позабавило, когда следующее облако, уже большее по размеру, словно вывернутый наизнанку тулуп, вовсе обволокло самолет. В кабине будто теплее стало. И уютнее. Снаружи, за колпаком, дождь, мура, а тут, как дома, на печке. Благодать! И он блаженно улыбнулся. Аж десна наружу. И нос, широкий, в конопатинах, от удовольствия на щеку съехал. Щеки же у Кузькина, что твои тарелки. Толстые, выпуклые, на ложках играть можно.

Моторы гудели деловито и слитно, что называется, душа в душу, многочисленные стрелки, словно живые человечки, весело поплясывали на циферблатах приборов, курсовая черта на плексигласовом полу кабины мягко делила дымившуюся внизу землю. Аэродром был виден хорошо. Даже людей различить можно. Потом на какое-то мгновенье его перекрыло не то дымкой, не то туманом. И лес, что нырял под крыло, тоже вдруг закутался в шубу. То выползли из-за сопок новые, правда, не толстые, а как бы размыты дождем, облака. За ними показались еще. Уже толще, грудастее, с синеватым отливом и звериными повадками — боднуть норовят. Добра от таких, пожалуй, не жди, могут все спутать. И Кузькин оттопырил нижнюю губу: не было, дескать, печали... Ведь терять аэродром из вида никак нельзя. Потеряешь, расчет на посадку будет не точным. А раз не точным, верняк «козел» или «промаз». Словом, стыда не оберешься. И сраму. А потом комэск, как всегда, посулит шпоры. Поиграет глазами и скажет:

«Шпоры захотел?» И не видать тогда ему сержанту Кузькину, самолета, как своих ушей, опять будет ходить в «безлошадных», пока новую партию не пригонят.

А шпоры эти самые, между прочим, пошли вот откуда. Одному кавалерийскому корпусу, говорят, с соседнего, вроде, фронта, было придано звено легких самолетов. Своя авиация, так сказать, карманная, на мелкие расходы. Да что-то там у них вышло. Генерал, командир корпуса — одно, летчики — другое. Характерами, видно, не сошлись, а может, генерал требовал невозможного. Не авиатор ведь, лошадник. Короче, нашла коса на камень. Ну, командир корпуса и не стерпел, на дыбы: «Вы, такие-сякие, где служите?» «В авиации»,— отвечают летчики. «Не в авиации, а в кавалерии». А те смеются: «Как же в кавалерии? У нас, как видите, даже шпор нет». Да на свою же голову. Генерал ухмыльнулся в усы и вдруг вызывает своего заместителя, приказывает: «Выдать им, таким-сяким, по шпорам, сабле и бурке. Да еще по доброму коню впридачу. И зачислить в первый эскадрон рядовыми!»

Может, брехня все это, а только с тех пор в полку, чуть что не так, «шпоры» кричат. Сделал, скажем, кто-то четвертый разворот с запозданием или «высоко выровнял», комэск кричит на весь аэродром: «Шпоры захотел?» Сел с «промазом» или «козелка отодрал» — снова «шпоры». Даже когда кто-то из штурманов бомбы не точно в цель положил, комэск и тут «шпорами» пригрозил.

Ну, а если Кузькин сейчас посадит самолет плохо, не притрет его «на три точки», «шпор» ему не миновать верняком. Это уж точно. И молодому летчику даже звон их послышался. Веселый такой, серебристый, ни дать ни взять — колокольчик под дугой. А ему этот звон что в пятку гвоздь. Даже в ушах запокалывало, в глазах пожелтело.

А третий разворот все же надо пораньше сделать. Вон она, облачность-то, так и прет. Куда, как говорится, ни кинь, всюду клин. Правда, тогда уж наверняка на посадку с бо́льшим углом заходить придется. Значит, и «промаз», пожалуй, обеспечен. И, разумеется, традиционный вопрос комэска насчет «шпор». А потом в штаб, «на правеж». Но ведь должен же он, комэск, в конце концов понять, что все это не от хорошей

жизни. Что он — слепой? Не видит, какая мура кругом? В такой муре он и сам эти самые «шпоры» может схлопотать запросто. А уж ему, Кузькину, и по штату положено, сам бог велел...

А может, зря он себя казнит? И взъерепенивает? Может, облачность не сплошная? Вдруг за нею чисто? И солнце светит. Тут ведь, в Карелии, всякое может быть...

И хотя колебался Кузькин секунду-две, не больше, третий разворот он так и так делал уже не видя земли. Она исчезла как-то вдруг, неожиданно. Будто ее вырвали из-под самолета. Пропала, и все тут, пока он на какой-то миг зацепился взглядом за приборную доску. Ничего себе положеньице: и сверху облака, и снизу. Да близко так, хоть рукой доставай. И вовсе не синие, а серые, как волчье стадо. А потом и с боков подошли. Горбатые, вспененные по краям. Почти стеной. Вроде мышеловки получилось. Ни туда, ни сюда. И сколько ни гляди, ни насилуй глаз, ни земли, ни аэродрома не видно. Вообще ничего не видать. Сплошь одни облака. Да уже необычные. Какой-то кисель, мучная болтушка. Кажется, не в самолете летишь, а в лодке плывешь. Без руля и без ветрил. Моторы даже не так слыхать стало, хотя газ дан почти до отказа. Число оборотов предельное. Взлетный режим. С запасом мощности и скорости: вдруг на второй круг уходить придется. Или от «мессеров» удирать. Впрочем, откуда им, «мессерам», сейчас тут взяться? Тоже, поди, у себя на аэродроме в норы забились, сидят, как сычи, летной погоды дожидаются. В авиации погода — все. Нет погоды — нет и авиации. Сейчас же как раз это самое — непогода.

А он, сержант Кузькин, все же в воздухе, утюжит его почем зря, молотит винтами. Да все не перемолотишь. Вон их, облаков-то сколько. Как на дрожжах всходят.

* * *

Будь на месте Кузькина другой, бывалый летчик, он бы сказал: табак дело, керосином пахнет. Но Кузькин таким летчиком не был. Поэтому он вообще ничего не сказал. Даже не подумал, что беда могла ходить где-то рядом, подстерегать. Известно — девятнадцать лет. Возраст розовый. Поросячий, как бы сказал комэск.

Теперь, когда самолет попал к облакам в плен, его смущало — морщины лоб состарили — уже другое: заходить ли вообще на посадку или делать вторую «коробочку», то есть переждать в воздухе, пока облака не схлынут и аэродром не откроется? Вслепую, конечно, заходить можно. Но страшно опасно. Не каждый отважится. Облака могли висеть почти до самой земли. Врежешься,— костей не соберешь. Хоронить нечего будет. Лучше уж переждать. Береженого и бог бережет. Не даст напрасно в трату. И, снова загнав обратно, в «гнезда», выпущенные было «ноги», Кузькин повел самолет дальше, на второй круг, не спуская настороженного взгляда с компаса и часов.

Вот позади один разворот, за ним другой, третий, позади уже целый круг, а аэродром все не открывается, его по-прежнему продолжают застилать сплошные, в темных разводах облака. И теперь уже новая забота выдавливает на широком лице молодого летчика пот: не проскочить бы линию фронта. Ведь она, эта линия, от аэродрома всего в четырех-пяти минутах полета. Будешь вот так ходить вслепую и ненароком проскочишь. Запросто. Раз — и уже там, у немцев. Вот была бы история! С географией! И уж тогда-то всему конец. Немцы его враз прижучат. «Пешка» на стометровой высоте — преотличнейшая мишень. Лучше не придумаешь. Насквозь продырявят. И Кузькин, глянув под крыло, даже на сиденье заерзал, точно под ним кто-то сковороду раскалил. Правда, после четвертого разворота, с курсом девяносто, она, сковорода, вроде бы остыла, а к третьему, уже на новом круге, когда самолет, кроша облака, снова пошел как раз по направлению к линии фронта, опять накалилась. Докрасна. А заодно и любопытство взяло. Пополам со страхом. Его поджаривает, а ему любопытно: какая все же она, эта самая линия фронта? Ведь он ее еще ни разу не видел. Знает только понаслышке, от ребят. Окопы, поди, одни да траншеи. И колючая проволока. В несколько рядов. Не сплошь, конечно. Есть места, где ни окопов, ни траншей. Вообще ничего нет. Только леса и болота. Через такие болота, верно, и выходят некоторые из тех, что сбивают. Не легко, понятно. Может, кто и остался там, в этих болотах. Засосало — и все. И никто об этом не знает. И никогда не узнает. Болота надежно хранят свои тайны.

Однако ж аэродрому пора все-таки открыться. Не до сухих же баков ему вот так вслепую ходить. Ну, подошла мура, закрыла землю, но не навечно же. Всему бывает конец. Должен он и облакам наступить. Ветер бы, что ли, уж подул сильнее, прогнал бы их за горизонт. А то повисли над аэродромом, как «сабы»[1] над целью. Ни туда, ни сюда. Правда, в боевой обстановке облака не помеха. Наоборот даже. Особенно когда «мессера» навалятся. Нырнул в них — и ищи ветра в поле. Многие так и делают. Вон прошлый раз командир звена четверку на бомбежку водил, так если б не облака, на том свете сейчас глубокие виражи закладывал. Двенадцать «мессеров» на них свалилось. Сверху. Аж неба не видно. Думали — конец. А тут облака. Кучевка. Слева по борту. В них и нырнули. «Мессера» ни с чем остались. Одного даже не досчитались. Это уже после, когда «пешки», круто изменив курс, чтобы сбить тех с толку, минут через пять начали выходить из облаков. Только вышли, а у командира звена в сетке прицела — «мессер». Видать, подловить их хотел, да сам попал, как кур в ощип. Близко так, под самым носом. Да еще в ракурсе «четыре четверти»[2]. Зажмурь глаза — и то не промахнешься. Вот командир звена и даванул на гашетку. Надвое, говорят, разворотил. А не будь облаков, сам едва бы вернулся.

Сейчас же облака вовсе ни к чему. Мешают только. Душу выворачивают. Давно б уж приземлиться надо, а тут сиди, как истукан, глаз с них не спускай, любуйся этим месивом. Тошнехонько. Хорошо еще, что моторы ровно работают, не подводят, да и в баках горючее пока есть. Так что уж лучше не растравлять себя, не терзаться. В воздухе это опасно, может плохо кончиться. Забьешь мозги — оплошки не миновать. Поэтому выше голову, сержант, как сказал бы командир звена. Солому жрешь, а хвост трубой держи. Это его излюбленная поговорка. На все случаи жизни. А жизнь командир знает. И летчик, каких мало. Все типы самолетов перепробовал. Кузькин, конечно, ему завидует, старается походить на него, во всем подражать. И не он один.

---

[1] Светящие бомбы для освещения цели при ночном бомбометании.

[2] Положение цели по отношению к стреляющему.

Многие. Укладчик парашютов из второй эскадрильи по его примеру даже трубку курить начал, бакенбарды отрастил. И финку на ремень прицепил. А зачем, спрашивается, этому «обтекателю»[1] финка? Пыль в глаза пускать, за храбреца себя выдавать? А какой из него храбрец, когда он, говорят, ночью один в сортир ходить боится. Вот летчику без финки нельзя. И без пистолета с компасом. Вдруг собьют. Правда, у него, у Кузькина, финки пока нет. Только перочинный нож. Но будет и финка. Как в строй введут, в боевой экипаж зачислят, закажет. Ребятам из БАО[2]. Они ему почище, чем у командира звена, сделают. С наборной рукояткой. И с кожаными ножнами. Тогда можно будет, пожалуй, и сфотографироваться. Конечно. Другие же фотографируются. Особенно вон укладчик парашютов старается, каждый день перед фотокорреспондентом позирует. Да еще не в своей форме: то фуражку с «капустой» нацепит, то галифе с кантом. Для фасона это, знай, мол, наших. Кузькину же фасон ни к чему. Что положено — наденет, а больше — ни-ни. Без форсу. Первую карточку, понятно, ей. Кому ей? Это уж он один знает. Это его секрет. Другим знать воспрещается.

И Кузькин, уже повеселевшим взглядом обласкав серое месиво за бортом, энергично заложил крен и вывел самолет на новый, уже третий по счету, круг.

И облака вдруг расступились, подались в стороны, образовав небольшой, крытый коридор. И аэродром показался. Только не сразу, а стыдливо и виновато, как женщина, скидывая с себя одну одежду за другой. Вон уже и стоянку видать. Капониры, масляные пятна возле них. И каптерку оружейников с одиноким деревцом по соседству. У Кузькина — гора с плеч. Еще бы! Поутюжил воздух — и хватит. Пора и честь знать. К тому же и обедать пора. Адмиральский час, как сказал бы флагманский стрелок-радист. Любитель поработать зубами. Повеселиться, значит, за столом. И языком. Только что это? На стоянке — ни души. Хоть шаром покати. Куда же это люди подевались? Не ждут, выходит? Отчаялись ждать? Уже похоронили? Хотя нет, на месте. Только — продери глаза, сержант! — лежат вроде. Верно, не ме-

---

[1] Так в авиации в шутку называли обслуживающий персонал.
[2] Батальон аэродромного обслуживания.

рещится, лежат. Причем в самых удивительных позах. Как попало, словом. «Не иначе слушают, как трава растет»,— по-девичьи игриво хохотнул Кузькин, даже не дав себе труда подумать, почему лежат, и вдруг тут же, словно перцу хватив лишку, с лица сошел: чуть ниже, как раз над стоянкой своей эскадрильи, он увидел двух «мессершмиттов». Короткокрылых, остроносых. С крестами на фюзеляже. Хотя встречаться так близко с ними до этого ему не приходилось, узнал их сразу. Еще бы, других таких у немцев нет. Ни у кого нет. Всем взяли: и скоростью, и вооружением, и маневренностью. В общем, не машины — звери. Попадешься к ним в лапы — пиши родителям, зови попа. Враз кишки выпустят.

Вдавив людей в землю, «мессершмитты» — они шли сейчас встречным «пешке» курсом — добросовестно, со знанием дела «выбивали пыль» из всего, что только ни попадало в глазки их пулеметов и пушек. Вон и пожар никак полыхнул. Точно. Каптерка оружейников занялась. Факелом. Кузькин увидел, как пламя, густо замешанное на бензине и масле, тугой вожжой заарканило соседнее с каптеркой деревце и, больше не найдя чем поживиться, гадюкой, прогибаясь под ветром, поползло жалить небо.

«Сейчас и мне решку наведут»,— покрываясь холодным потом и чувствуя, как гимнастерка прилипает к лопаткам, обреченно подумал молодой летчик.

* * *

И верно, завидев «пешку», «мессершмитты», видно, раздумали ударить по стоянке еще разок, уже против шерсти, и тут же начали круто — крен почти под девяносто градусов — забирать влево: живой, летящий самолет показался им, конечно, куда заманчивее, чем заякоренные на стоянке, укрывшиеся в капонирах. Что ни говори, живая мишень, не мертвая. Соблазняет. Даже азарт придает. И они, чтобы не упустить ее, успеть зайти к ней в хвост, продолжали сжимать дугу разворота настолько туго, что, казалось, из хвостов у них вот-вот брызнет сок. Кузькину стало тоскливо, он сжался, но все же сообразил: в запасе у него восемь-десять секунд. Не больше. Это значит: восемь-десять глотков воздуха.

...Молодой летчик не раз слышал рассказы бывалых авиаторов о том, как пахнет свое собственное мясо. Не баранья отбивная, не шашлык по-карски, а свое собственное мясо. Такие случаи уже бывали. И не раз. Авиация — не пехота. «Мессера» или зенитки вставят фитиля — и горят ребята, поджариваются. Почище, чем на сковороде. Со всех сторон сразу. Вон флагманский стрелок-радист. Горел уже однажды. С экипажем. Зажгли их тогда за линией фронта порядочно. Вот и тянули до нее, так как над чужой территорией выброситься не решались. Густо там немцев было. Везде: айн, цвай. И овчарки. Правильно, конечно, раз была возможность тянуть. Но поджарились здорово. Особенно стрелок-радист. Да и понятно. В хвосте он, весь огонь на него. Не кабина, а печь мартеновская. Хорошо еще, что очки летные были. А то б без глаз остался, лопнули бы от жары.

Вот и Кузькина сейчас ожидает та же участь. Только, конечно, с худшим концом. С пропеллером в могиле. Те от «мессершмиттов» хоть могли отстреливаться. Всю дорогу. Бой с ними вели. А он? Что он мог с ними сделать, когда на борту ни штурмана, ни стрелка-радиста? Правда, два носовых пулемета у него есть. Спаренных. Но ведь немцы не в лобовую идут, а с хвоста наседают. Это у них излюбленный прием: не из пистолета же по ним стрелять? Да еще через плечо? «Мессерам» это вообще нипочем. Даже не почешутся. Словом, глупость это — за соломинку хвататься, когда тонешь. Тут и бревно не поможет. Ничто не поможет. Так что всадят они сейчас в него полбоекомплекта. Как пить дать, всадят. И Кузькин, по горло наливаясь тоской, не дыша, будто подстреленная птица из-под крыла, заставил себя глянуть назад, страшась увидеть в хвосте беснующееся пламя. Но пламени не было. Не было пока и «мессершмиттов». В этот миг они только еще выходили из разворота, убирали крен. Но сейчас будут. Будут непременно. Как по расписанию. Через пять-шесть секунд. Значит, еще пять-шесть секунд отмеряно в этой жизни молодому летчику. Пять-шесть секунд, и, сам того не ведая, Кузькин замороженным взглядом уперся как раз в бортовые часы, машинально выхватив их из множества других приборов. Часы показались ему огромными. Во всю кабину. Стрелки на них дрожали. Как в лихорадке.

Короткая — где-то за двенадцатью, средняя, минутная — на трех. Секундная же стояла не шелохнувшись. Будто замерла, нацелившись перед прыжком. Вот-вот сорвется. И прыгнет. Как раз сюда, на эту вот белую, слегка подзелененную — фосфор все же светится — черту. Потом на следующую. В общем — пять-шесть секунд у него в запасе. Пять-шесть. Это пять-шесть вздохов. И то не глубоких.

— А кукиш с маслом не хотите? — вдруг с болью, точно его шилом кольнули, взвизгнул Кузькин и, не будь дураком, обеими руками хватанул штурвал на себя.

И упал горизонт. И встало на дыбы небо.

Со свистом и стоном, оставив «мессершмиттам» лишь натужное рыдание моторов, «пешка», теперь уже сама, по доброй воле, за миг до отмеренного роком, снова врубилась в серое месиво облаков.

* * *

Не думал, не гадал сержант Кузькин, что в этот день ему доведется поиграть в давно забытую, игранную в детстве, игру, известную под названием «в кошки-мышки». Не думал, не гадал, а довелось. Да еще в обычном, тренировочном, а не в боевом вылете. Не по своей, разумеется, охоте. И с той разницей, что «кошками» на этот раз были не его босоногие сверстники в коротких штанишках, а немецкие истребители, грозные «мессершмитты», и проигравший расплачивался куда более дорогой ценой, чем водивший.

Войдя в облака, молодой летчик первым делом изменил курс. Ровно на девяносто градусов. Замел следы, как говорится. Потом засек время и затяжелил винты,— теперь-то уж хочешь — не хочешь, а экономить горючее придется обязательно. Ведь неизвестно, сколько продлится эта «игра». А что она уже началась, точнее — не прекратилась, он не сомневался. Кто-кто, а «мессершмитты» не так-то легко выпускают из своих рук добычу, во что бы то ни стало постараются отыграться, взять реванш, если, конечно, горючего у них тоже не в обрез. Сейчас они, обозленные неудачей, рыскали, он чувствовал, где-то поблизости, поджидая, что «пешка» как-нибудь ненароком выдаст себя, обнаружит, показавшись из облаков,— и на этот раз ей будет конец. Полный, бесповоротный.

Потому-то Кузькин, хотя избежал непосредственной опасности, чувствовал себя и в облаках далеко не храбро: руки у него, особенно когда затяжелял винты, все еще заметно пританцовывали, правое веко нервно подергивалось и глаз из-за этого косил. Да и то сказать: не у тещи на блинах побывал.

А все же жив, вывернулся, сообразил что к чему. И ушел. В последний момент, можно сказать. Смерть уже в хвосте висела, конец, думал, а ушел. И сейчас постарается уйти. Во всяком случае, в лапы им больше не дастся. В лепешку расшибется. Хватит с него. Испробовал. Узнал, почем фунт лиха. Больше не требуется. Не дурак. Только б — новые времена — новые песни! — облачность не ушла, задержалась бы здесь подольше. Пусть вот так и висит. Как на крюке подвешенная. С полчаса хотя бы. Даже меньше. Хватит и десяти минут, чтоб «мессершмитты» потянули к дому. Горючего-то у них на час, на час пятнадцать. В воздухе же они, вероятно, с полчаса. Даже если с ближайшего аэродрома. Что у реки, возле излучины. Ходу оттуда — двадцать-двадцать пять минут. Туда и обратно, значит, все пятьдесят. К тому же истребители перед посадкой должны иметь на борту не меньше как пятнадцатиминутный запас горючего. На случай воздушного боя в собственной же хате. Вернутся, скажем, домой, на свой аэродром, а там — противник. Ну и в бой надо. С ходу. А без горючего — не бойцы... Лишь бы на полосу скорее плюхнуться. Так что еще пять, от силы десять минут, и Кузькин сможет спокойненько сделать «мессерам» ручкой: ауфвидерзеен, дескать...

А пока надо глядеть в оба. Насквозь и даже глубже, как сказал бы комэск. Муху не пропустить. В общем, на то, сказывают, и щука в море, чтобы карась не дремал. Неровен час, облака разойдутся — окажешься на мели. «Мессера» же, верно, рядом, только того и ждут. Спуску на этот раз не дадут. Попался, скажут, голубчик, и дух выпустят. Причем, на первом вылете. Не на боевом даже, а на тренировочном. И в девятнадцать лет. Каково? А? В девятнадцать! И Кузькин, скосив глаз на сторону, зябко передернул плечом.

А интересно, сколько им, «мессершмиттникам»? Тоже, наверное, по девятнадцать? Хотя нет, больше. Они, гады, уже и с Англией, и с Францией повоевать успели,

Насобачились. Старше, значит. Может, и под тридцать. И крестов, поди, навалом. Вон недавно, на днях, одного сбили, так сплошь кресты. До пуза. Больше вроде и вешать некуда. Ас, говорят, наипервейший. Герингов любимчик. А сбили все же. За милую душу. Выстрела не успел сделать — и готов, спекся. А кто, спрашивается, сбил? Такой же сержант, как и Кузькин. Только что из училища. Едва успели в строй ввести. А уложил, как миленького. Тот сперва даже не поверил. Не может быть, говорит. Покажите. Показали, конечно. Так он за голову схватился. Все никак не мог от изумления в себя прийти. Вот тебе и ас. Был ас, а теперь весь вышел.

А эти — Кузькин опять покосился по сторонам,— поди, дружки его, товарищи. С того же аэродрома, не иначе. Много их там поднакопилось. Два полка будто. Вот и повадились, гады. За эту неделю уже второй раз. Даже облачность не останавливает. И зениток не боятся. В грош их не ставят. А, впрочем, что им зенитки? Пока те очухаются, «мессеров» и след простыл. Они ж долго над аэродромом не задерживаются. Подойдут скрытно, по-воровски, рубанут с наскоку — и тут же обратно. А про истребителей наших и говорить нечего. Даже вырулить не успевают. Не то, что взлететь. А потом, говоря откровенно, кто же мог думать, что «мессера» в такую погоду будут заявляться. Добрый хозяин в такую погоду и собаку на двор не выпустит, пожалеет. А они пришли. На стоянке, конечно, дров наломали, «красного петуха» пустили. А теперь вот за Кузькиным охотятся. Ждут, не оплошает ли, не подставит ли себя под удар. Да только не дождутся. Кузькин хотя и не стреляный воробей, а на мякине его больше не проведешь. Поумнел. Сами в дураках останутся. При пиковом интересе. Лишь бы вот еще горючего хватило, баки бы не опустели. Жрут ведь его моторы здорово. Будто ненасытные. Вон она, стрелка бензомера, к нолю ползет, к нолю подбирается. Медленно, правда, а подбирается. Как в ноль упрется — хана, и Кузькин, задержав дыхание, боязливо скосил левый глаз уже на красное кольцо парашюта, которое пускают в ход лишь после того, как все средства испробованы и остается одно, последнее — перебросить ноги за борт.

А за бортом — сплошь облака. Брюхатые, грудастые. Холодные, равнодушные. Всякие. На любой вкус. Что

им до Кузькина? Даже ухом не поведут. Сбились в стадо — и ползут. Лениво. Точно вареные. Без дорог и желаний. Даже не зная — куда. Им это все равно: на юг ли жаркий, на север холодный, или к черту на рога, лишь бы ползти, давиться, друг из друга сок выжимать. Молча, без крика. И без обид. Такая уж у них, облаков, доля незавидная, мотаться неприкаянными по небу, пока солнце не высушит. Или ветер не растреплет. Бродяги, в общем, бездомные. Потому и неприветливы они, побирючьи нелюдимы. А иные так волком глядят. Зверьезверьем. Вон те особенно, что справа по борту. Ишь насупились, сгорбатились. Не иначе, как на рога поддеть норовят.

В общем, не велико удовольствие окунуться в них. Только от мысли об этом у Кузькина зачесалась спина. Это же все равно, что в прорубь нырнуть. В ледяную воду броситься. Что он — рыжий? А потом и с парашютом еще не шибко в ладах. Всего разок прыгал. В училище. Опыту, как говорится, кот наплакал. Уж лучше до сухих баков ходить, до последнего оборота винтов, словом, чем в это дьявольское варево окунуться. К тому же и пять минут, кажись, прошли. Точно, шестая побежала. Так что, может, он вообще зря отчаивается. Может, «мессера» и ушли отсюда. Тоже ведь не дураки — до сухих баков караулить. Ушли, конечно. Небось, и дома уже. Или на подходе к дому. К своему аэродрому, точнее. А аэродром, говорят, у них классный. Две взлетных полосы: бетонка и песчаная. Целой эскадрильей взлетать можно. Сразу. Красота! Не то что у нас. Ну да не век же им там хозяевать. Придет время — и турнут их оттуда. Парочку хороших бомбовых ударов — и от аэродрома одно название останется. Полк ведь теперь машинами укомплектовали. Полностью. Новехонькими. Прямо с завода. Взлетит — небо расколется. Меридианы с параллелями полопаются. Сила! Так что парочку налетов — и аэродрома с «мессерами» как не бывало. С землей сравняют. В том числе и он, сержант Кузькин, к этому делу руку приложит. Не хуже других. Постарается, в общем. В грязь лицом не ударит.

Подожди-ка, сержант, не спеши. Что-то уж разошелся ты больно. Не рано ли? Как бы тебе в грязь лицом сейчас не пришлось ударить. Да, да, сейчас. Не видишь, что ли, облака кончаются. Вон она, синева,

впереди. А там, быть может, и «мессершмитты», которых ты, потеряв терпение, поторопился домой спровадить. Тебя поджидают. Гостинец припасли. С огоньком и дымом. Так что туши лампу, старина, гаси свет.

И верно, не успел Кузькин притормозить веселый хоровод мыслей, как в кабину самолета рыжим нахалюгой-парнем вломилось солнце. Вломилось и заприплясывало, плавя металл, высвечивая в кабине каждый закоулок. В другой раз радоваться да радоваться этому, а сейчас — нет: ведь теперь он на виду. Открыт. Со всех сторон. С любой наваливайся. Во всяком случае, «мессершмитты», если они где-то — не дай бог! — поблизости, не преминут этим воспользоваться. И точно. Вон они, гады. Легки на помине. Тут как тут. Уже и в атаку бросились. Мать моя родная! С левого борта. Сверху. Под углом. Играючи словно. И уверенно. Теперь уж, дескать, не уйдет.

Действительно, уходить было некуда, и молодой летчик обмер, будто его кто за горло схватил. Облака, так надежно его укрывавшие, остались позади. Далеко. Не догонишь. Правда, спереди, соблазнительно белея, набегал островок кучевки. Но слишком уж мал. Не скроешься. Голову спрячешь, ноги торчать будут. О возвращении назад тоже нечего было и думать. Не успеть. Даже с правым разворотом. И все же — машинально, на авось — он повернул вправо. Круто. Почти поставив машину на крыло. Моторы — в крик. Вот-вот надорвутся, от натуги сорвут голоса. Из-под крыла, качнувшись, будто на четвереньках, выполз аэродром. Сперва взлетная полоса. Затем, подковой на мокрой и пожухлой траве, рулежная дорожка, за ней — стоянка и черное, скошенное к дереву, пятно с рваными краями — все, что осталось от каптерки оружейников. Горевших капониров вроде не было. А может, он их просто не заметил. Не до того. Не до капониров. Страх уже волчьим капканом сдавил Кузькину душу, а когда, вырвав самолет из крена, поставив его на прямую, он увидел, что облака не стали ближе, что до них так и так не успеть, совсем голову потерял. Потерял и волю к сопротивлению, както разом сник, полинял: все равно, мол, пропал. Бесполезно. Ему надо бы хоть о парашюте позаботиться, чтобы, на худой конец, им воспользоваться, а он и тут бровью не повел, точно оцепенел. Единственное, на что

сейчас еще оставался способным молодой летчик, так это бессмысленно, по привычке давить на сектора газа, хотя те были даны до упора, и до бесконечности — словно в них все дело — сутулить плечи. Он даже оглянуться назад был не в силах, точно боялся ослепнуть...

А зря.

Если б оглянулся, то увидел, как один из «мессершмиттов», не успев подойти к нему и на выстрел, вдруг круто вильнул в сторону, затем тут же вспыхнул дымным пламенем и, копотью фиксируя каждое свое следующее движение, медленно заштопорил вниз, к земле. Не видел молодой летчик и того, как второй «мессершмитт», шедший позади и выше, натолкнувшись на плотный, заградительный огонь зениток и увидев, что его напарник уже поджарился на этом огне, не стал дожидаться своей очереди и тут же, с ходу, повернул назад и вскоре пропал где-то за косой линией горизонта.

Кузькин очухался значительно позже, лишь когда — шлемофон стал тесен от вставших дыбом волос — снова оказался в облаках. Он даже не сразу поверил в это, думал — почудилось, а поверив, не сдержался...

И сделал перед заходом на посадку лишнюю «коробочку»: не гоже, дескать, боевому летчику после встречи с «мессерами» появляться перед однополчанами с промокшими глазами.

* * *

— Отвечай, чадо мое, по чести и по совести: мать-авиацию чтишь?

— Чту.

— На «пешке» летаешь?

— Летаю.

— В шасси веруешь?

— Верую.

— «Ликер-шасси» пьешь?

Кузькин с опаской покосился на помощника «патриарха», который, давясь, как и все на стоянке, от беззвучного смеха, держал наготове довольно вместительную воронку с заткнутой горловиной, почти до краев наполненную жидкостью. Это и был в шутку называемый летчиками «ликер-шасси» — смесь спирта с глицерином, применяемая в самолетах для аварийного

выпуска шасси. Доза — явно не по чину, генеральская, и Кузькина, еще в жизни не бравшего в рот хмельного, она сулила тут же уложить на обе лопатки. Но обряд есть обряд, а тем паче для него, удостоившегося этой высокой чести до свершения первого, как обычно полагалось, официального боевого вылета, то есть — досрочно — знай наших! — и он, правда, уже не так твердо, но все же довольно храбро соврал:

— Пью!

— Отлично! Целуй шведский ключ.

Кузькин поцеловал и тут же, приняв из рук помощника «патриарха» — это был вездесущий укладчик парашютов — воронку с гремучей смесью — назвался груздем — полезай в кузов! — с замирающим сердцем и бесстрашным видом опорожнил ее до дна.

— Истинно авиационная душа! — под восхищение и смех однополчан, добросовестно фальшивя голосом, торжественно провозгласил «патриарх» и, выдерживая роль до конца, хотя его тоже душил смех, с благочестиво-апостольским видом перекрестил — потыкал Кузькину живот, дав этим понять, что полковой обряд посвящения молодого летчика в высокий сан фронтовика окончен: летай, мол, отныне ясным соколом...

Потом к самолетам подошел бензозаправщик, и посвященный, ноги которого к тому времени заметно утратили обычную твердость, уже выписывали на стоянке довольно замысловатые вензеля, без слов позволил усадить себя в кабину и отвезти прямехонько домой, в землянку — отсыпаться.

Отсыпался же Кузькин долго, будто за двоих. Спал весь остаток дня и всю ночь. Крепко, как говорится, без задних ног. И без снов. Спокойно. Только под утро приснился ему укладчик парашютов. Был укладчик в фуражке с «капустой», в галифе с голубым кантом и хромовых сапогах со шпорами. Короче, в неположенной форме, стервец.

НОЧНОЙ ГОСТЬ

Переменчива погода в Заполярье. Утром смотришь — на небе ни облачка, кругом тихо, безмолвно, сопки курятся легким туманом, солнце золотит отроги далеких скал, и вдруг, откуда ни возьмись, черные тучи навалятся, сразу станет темно, неприветливо, пойдет дождь, дороги раскиснут, расползутся, и все, даже самолеты, только что игравшие в лучах солнца серебром своих широких крыльев, теряет свой гордый, величавый вид, становится таким же серым, угрюмым, как и нависшее над аэродромом небо, как и поникший от дождя лес.

Вот и сегодня, едва Евдоким Горшков заступил на пост,— пошел дождь. И хотя на этот раз он не поливал как из ведра, Горшкову от этого было не легче. Стоял сентябрь, и сырой порывистый ветер то и дело заворачивал полы его короткой солдатской шинели, пробирался под гимнастерку, за воротник или вдруг обдавал россыпью холодных брызг. Горшков утирался тогда рукавом шинели и еще глубже забирался под крыло самолета.

Унылые, как и эта осенняя ночь, мысли одолевали солдата. Ему казалось, что он уже давным-давно стоит на посту, мокнет и зябнет, в то время как смена, видимо, позабыв о нем, сидит в жарко натопленной землянке вокруг краснобокой печки и, покуривая, ведет неторопливые разговоры о разной бывальщине, о доме, родных, близких.

Потом мысли Горшкова перенеслись домой, на седой Урал, где он оставил три года тому назад жену с трехлетним сынишкой Петькой. Петька, конечно, уже подрос и спрашивает, скоро ли отец побьет фашиста и вернется домой, а в последнем письме, которое сейчас лежало в кармане Горшкова вместе с кисетом, мальчуган наказывал поскорей сообщить, сколько отец самолетов сбил.

«Глупышка ты мой!» — улыбнулся Горшков, и настороженный взгляд его стал как-то мягче, теплее, разгладились и морщинки на лбу.

— Несмышленыш! — уже вслух снисходительно добавил он: — Нешто твой отец летчик? Солдат он, рядовой солдат первого отделения караульной роты! Понял теперь? Ну вот, то-то. А ты говоришь — самолеты... Эх ты! Отцу твоему только хвосты у самолетов считать. Вот как!

И от этого мысленного разговора с Петькой на душе у Горшкова стало еще тоскливее. Да и ветер к тому же рассвирепел, так и норовит скинуть чехол с самолета либо провода антенны оборвать.

— Да-а, такие-то вот дела,— как бы подводя итог разговору, добавил Горшков.— Однако ж пора и смене быть.

Он плотнее запахнул шинель, крепче оперся на винтовку.

— У-ууууу,— монотонно запел штык над ухом,— у-у-у-у,— словно убаюкивая солдата, продолжал он посвистывать жалобно, тягуче, так, что Горшков даже глаза закрыл сначала, но через секунду открыл снова. В посвистывание ветра ворвался какой-то посторонний звук: не то вой, не то гул. Горшков отвел винтовку в сторону, насторожился. Но, как нарочно, в это время ошалело рванул ветер: он с шумом приподнял чехол на самолете, глухо прошуршал брезентом по обшивке, пробарабанил каплями дождя по фюзеляжу.

Горшков недовольно поморщился — померещилось.

Но вскоре он и впрямь услышал откуда-то сверху, над собой, негромкий гул. На минуту гул пропал, затем появился снова — уже яснее, отчетливее.

Горшков поглубже натянул пилотку и нехотя вышел из-под крыла, глянул на небо.

По небу низко, как бы стараясь придавить аэродром с его землянками и самолетами, ползли тяжелые, рыхлые облака. Они цеплялись друг за друга, кромсали бока у соседей, потом вдруг расходились в стороны, чтобы дать дорогу другим. Вот из-за бензоскладов вывалилась особенно мрачная туча. Она тотчас же хозяином расползлась по небу, подмяв под себя мелкие, слабые. Но через минуту и она уже пропала где-то за оврагом, и лишь черный косматый хвост ее некоторое время

продолжал висеть над аэродромом, пока и его не разметал ветер.

Но Горшков этого не замечал. Он слышал лишь гул — ясный, отчетливый.

— Самолет, ей-богу, самолет,— не то удивленно, не то обрадованно проговорил он, не отрывая глаз от неба и не замечая, что шинель на нем уже вымокла почти до нитки и с пилотки, словно из желобка, за воротник лились обжигающие тело струйки воды.

— С соседнего аэродрома, не иначе. Видать, заблудился, сердечный,— пожалел он летчика, вглядываясь по направлению звука.

Горшков не ошибся. За облаками и в самом деле кружил самолет. Он продолжал без конца утюжить воздух, рыскать из стороны в сторону. Тягучий гул его то замирал где-то на той стороне аэродрома, то вдруг надсадно раздавался над самой головой солдата, словно прося, моля о помощи.

«Что же мне с тобой делать? — озабоченно подумал Горшков, чуя, что самолет не иначе, как попал в беду.— Нешто за фонарями сбегать,— встрепенулся он и вдруг замер, прищурив левый глаз.— А может, это не наш, может, фриц? — И Горшков даже винтовку взял на изготовку, но тут же упрекнул себя за это.— Не наш — так бомбы швырять бы уже начал...»

Судя по звуку, самолет в это время кружил где-то над бензоскладами. Горшков ожидал, что сейчас он вернется и вновь пройдет над аэродромом, но гул его вдруг стал слышаться все тише, глуше и, наконец, совсем пропал.

Горшков подождал минуту, другую. Гул не возобновлялся.

«Улетел»,— решил он и только тут заметил, что все время стоит на ветру, под дождем. Тогда, еще раз бросив настороженный взгляд на небо, он метнулся под крыло самолета, протер винтовку, выжал пилотку и, стуча зубами от холода, стал остервенело дуть на озябшие руки.

* * *

А самолет, который так взволновал солдата, и не думал уходить далеко. Пройдя километров двадцать на восток, он повернул влево, на север, затем вдруг,

круто изменив курс, взял направление к югу. Шел он низко, над самой кромкой облаков, время от времени рассекая их острием своих коротких, словно обрубленных крыльев.

За штурвалом сидел молодой, лет двадцати пяти, летчик. Продолговатое лицо его с тонким прямым носом и острым, выдвинутым вперед подбородком было бледным, усталым, взгляд глубоко посаженных светлых глаз — беспокойным, настороженным. Он поминутно перекладывал машину с крыла на крыло, долго кружился над одним местом, выискивая что-то.

Летчик нервничал. Скользнув беспокойным взглядом по светящимся циферблатам приборов, он снова поставил машину на крыло, через минуту выровнял ее, свечой взмыл вверх, огляделся.

Всюду, насколько хватал глаз, виднелось одно и то же: облака самых причудливых форм и самых разнообразных оттенков. Вон там, слева по борту, облако было похоже на гигантский бараний рог, рядом — какие-то бесформенные, расплывшиеся куски ваты, за ними — мохнатая по краям туча, круглая, как гриб, еще дальше — темная гряда скал, отрогов, выступов. И все это, озаренное тусклым светом ночного неба, куда-то в беспорядке двигалось, спешило, меняло формы, очертания.

Справа же, наоборот, облака были светлее, спокойнее: они не подминали, не кромсали друг друга, а плыли смирно, размеренно. Лишь изредка, словно взметнувшаяся спросонья рыба, по ним хлестала невидимая воздушная волна, на минуту будоражила, мутила поверхность, чтобы затем самой пропасть без следа.

Одиноким и беспомощным выглядел самолет в этой бескрайней воздушной пустыне, над этими бесконечными хребтами унылых облаков. Не горели, не светились, как обычно, на его плоскостях и стабилизаторе бортовые огни, не играли радугой его распластанные крылья. Словно затравленный зверь, метался он из стороны в сторону, отыскивая и не находя чего-то.

Все мрачнее становилось лицо летчика, плотнее сжимались его тонкие бескровные губы.

— Плохо,— уже в который раз говорил он себе.— Плохо.— И вдруг глаза его сверкнули радостью, губы дрогнули в улыбке. Он увидел, что облака в одном

месте раздвинулись, разошлись, образовав небольшое окно.

— Наконец-то! — крикнул летчик во весь голос — и в тот же момент послал самолет к окну. Но облака вдруг снова сомкнулись и закрыли от него желанную землю. Однако он все-таки успел разглядеть небольшое озеро с островком на середине. Поставив самолет в круг, развернул планшет с картой, торопливо и с надеждой скользнул по ней взглядом.

— Так, так, озеро, остров. Так, так. Вот оно. Вот! — ткнул он пальцем в голубой кружок.— Значит, аэродром вот здесь, в шести километрах южнее.

Повеселев и ободрившись, летчик круто развернул самолет и увеличил обороты мотора. Но по мере приближения к предполагаемому аэродрому он снова забеспокоился: то ли это озеро, не перепутал ли он его с другим. Ведь здесь столько озер, так похожих друг на друга, что немудрено и ошибиться. А потом этот радиополукомпас: надо же было ему отказать так некстати. Однако же хватит раздумывать. Вот и аэродром, наверное. Вот здесь, как раз под фюзеляжем.

Он снова ставит машину на крыло, делает вираж, другой, третий, словно бы примериваясь, прицеливаясь, как и откуда лучше пробить облачность. Случайно его взгляд останавливается на стрелке бензомера: еще пять — восемь минут полета — и баки будут сухими.

«Пробиваю!» — не то с какой-то бесшабашной отчаянностью, не то с обреченностью решает летчик. Облизнув пересохшие губы, он выравнивает машину и быстро, словно боясь передумать, отжимает штурвал.

Самолет нехотя опускает острый нос и, круто перевалившись, с воем ныряет вниз, в пучину угрюмых мохнатых туч, которые, как бы давно поджидая, сразу окутывают, сдавливают его со всех сторон, как пленника.

* * *

Когда Горшков увидел вывалившийся из облаков самолет, он сперва оторопел и с минуту стоял не двигаясь. Потом вдруг, перекинув винтовку стволом книзу, бросился на другой конец стоянки. Не успел он пробежать и десяти шагов, как с него сорвало пилотку.

Он торопливо нагнулся, нашарил ее в темноте, мокрую и грязную, нахлобучил потуже на голову и снова, путаясь в раздувавшихся полах шинели, побежал дальше.

Тем временем самолет выпустил шасси и, включив фару, которая бросала вперед бледную струю света, уверенно коснулся земли и, пробежав немного, остановился в конце аэродрома, невдалеке от Горшкова. Свет фары, в котором только что искрились косые нити дождя, погас, и солдату показалось, что вместе со светом пропал и самолет. Но вскоре глаза Горшкова отыскали его снова.

— Сюда, сердешный,— махая рукой на пустовавший капонир, закричал он летчику.— Сюда.

Самолет продолжал стоять на месте. Тогда Горшков выбежал вперед, сдернул с головы пилотку и отчаянно замахал ею.

На этот раз летчик заметил человека и дал газ. Мотор фыркнул, загудел, и самолет, слизнув позади себя струей воздуха лужу, порулил вслед за суматошно побежавшим солдатом.

Когда, наконец, машина подрулила к капониру и, притормозив, остановилась, Горшков, несмотря на то, что с него едва не бежали ручьи — так он вымок,— повеселел. Он подмигнул невидимому в кабине летчику и с нетерпением стал поджидать, когда тот отстегнет привязные ремни и вылезет.

— Намаялся, поди, сердешный,— довольно улыбался он в темноте.— Ничего. Сейчас я тебя табачком обогрею.

И Горшков, заворотив полу шинели, сунул руку в карман. Но оказалось, что кисет с табаком отсырел, отсырели и спички с бумагой.

— Н-да-а,— невесело улыбнулся он и машинально глянул на хвост самолета.

В тот же миг его точно кипятком ошпарило или молнией обожгло — на стабилизаторе он увидел фашистскую свастику.

— Фриц! — ахнул Горшков и даже присел от неожиданности.

И словно в подтверждение этого в тот же момент над его головой раздался надтреснутый, с хрипотцой голос:

— Доннерветтер![1]

Горшков метнул взгляд вверх. Перед ним, на крыле, пристально всматриваясь вниз, стоял гитлеровский офицер.

— Ганц дункель, их зее нихт[2],— добавил офицер ворчливо и, выбрав место, где было меньше грязи, спрыгнул на землю.

«Боится сапоги запачкать,— почему-то именно об этом подумал Горшков, и вдруг жгучая ненависть хлестнула ему в душу.— Душегуб, значит, фашист»,— и, размахнувшись, сильно, словно кувалдой, он двинул гитлеровца в челюсть. Тот, вскрикнув, ударился затылком о фюзеляж, но не упал. Горшков размахнулся снова, но на этот раз немец сумел увернуться, и кулак часового лишь просвистел в воздухе, а сам он, потеряв равновесие, подался вперед, припав на одно колено. И лежать бы наверное Евдокиму Горшкову в луже, под немцем, который тем временем уже рвал кобуру пистолета, если б в последний момент он не ухватился за элерон[3] крыла и ударом левой ноги не отбросил врага назад, к хвостовому колесу. Немец упал на спину, неестественно согнув локти. Не дав ему опомниться, Горшков в тот же миг сорвал с плеч винтовку и прикладом вышиб из его руки пистолет. Второй удар опустился уже на голову летчика, и тот потерял сознание.

«А ведь этак-то можно и до смерти зашибить»,— почувствовав, что хватил через край, тут же упрекнул себя Горшков и поспешно наклонился над немцем. Тот на секунду открыл глаза и что-то прохрипел.

Значит, жив. На сердце солдата отлегло.

— Ты уж того, не серчай,— словно извиняясь, проговорил он ему.— Нешто я хотел тебя прикладом-то? Сам напросился. А то б ни в жизнь,— и когда тот снова открыл глаза и хотел подняться на ноги, осторожно заложил ему руки за спину и связал ремнем.— Так-то оно и тебе, и мне спокойнее будет.

Но немец и после этого не отказался от попытки освободиться. С норовом, видать, оказался. Роя ногами

---

[1] Гром и молния (нем.).

[2] Темно, я не вижу (нем.).

[3] Элерон — руль на крыле, при помощи которого создается крен самолета.

мокрую землю, он вдруг снова изогнулся и пребольно ударил Горшкова головой в грудь. Другой бы на его месте рассвирепел, а Горшков даже не поморщился. Плененный враг уже не вызывал в нем той жгучей ненависти, того ожесточения, которые еще минуту назад переполняли его душу.

— Себе же хуже сделал,— только и сказал он и тут же, сняв с офицера ремень, связал ему и ноги.— Теперь лежи и не балуй,— пробуя крепость узлов, назидательно добавил Горшков и щелкнул было затвором винтовки, чтобы выстрелом сообщить о случившемся, как его остановил знакомый властный окрик:

— Что тут за кутерьма, Горшков?

— Что? — вздрогнул тот от неожиданности и обернулся.

Перед ним стояли командир роты, начальник караула, разводящий.

— Что? — снова переспросил Горшков и вдруг, выпрямившись, отрапортовал: — Да вот ночной гость, как говорится, залетная птица, товарищ командир. Фашист, значит. Прямо с самолетом, заблудился, видать. Да с норовом оказался. Пришлось маленько спутать...

Выслушав незамысловатый рассказ солдата, командир крепко пожал ему руку.

— Молодец, Горшков! От лица службы объявляю благодарность!

— Да ведь оно что — заблудился, ну я и спеленал его,— смущенный похвалой, нескладно проговорил тот, покашливая в кулак. Потом опомнился и, как подобает солдату в таких случаях, во всю силу легких выдохнул:

— Служу Советскому Союзу!

А уже в землянке, забравшись в теплую постель, Горшков не без улыбки подумал, что теперь-то будет о чем написать Петьке.

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА

Было уже за полночь, а молодому летчику Сергею Ромашкову не спалось. Темень, жалобное посвистывание ветра в печной трубе, скрип старой ели, что несла караул у землянки, храп и несвязное бормотание соседа на койке гнали сон прочь. Стоило ему закрыть глаза, как в голову лезла всякая чертовщина.

...В последнее время полк нес большие потери. Накануне был сбит экипаж Николая Гуртова, днем раньше — Владимира Мозгунова. А тут еще этот вылет, что предстояло ему сделать завтра, как раз в день рождения,— тринадцатый по счету. Ну, как тут не задуматься? Чертова дюжина. Самое несчастливое число. Роковое. Кстати, экипаж Гуртова как раз на тринадцатом и сбили. Причем над своим аэродромом, буквально на глазах у всего полка, когда они по существу были уже дома. В тот же день и похоронили. Собственно, хоронить-то было нечего. Пустая кобура да планшет с картой — вот и все, что осталось от экипажа.

Помнится, как раз перед вылетом Усману Муратову, штурману Гуртова, прямо на стоянку принесли письмо, в котором жена сообщала, что родила сына, и спрашивала, какое дать ему имя. «Рашид»,— решил счастливый отец. Он тогда еще спросил Ромашкова: «Тебе нравится имя Рашид?» И вот этот вопрос сейчас почему-то особенно тревожил, даже пугал молодого летчика, точно в нем был скрыт какой-то жуткий, никому неведомый смысл, и он, стараясь уловить его, понять, еще больше запутывался, сильнее растравлял себя и в конце концов со страхом открывал глаза, зажигал спичку и, бледный, похожий на лунатика, бессмысленно глядел по сторонам. Спичка быстро сгорала, через минуту она хрупким угольком падала на пол, землянка

снова погружалась в темноту, а он долго еще продолжал сидеть, точно в столбняке, боясь шевельнуться.

Или вдруг ему начинало казаться, что за землянкой кто-то шепчется, скребется в дверь, заглядывает в оконце, что провалом темнело в стене напротив, и он вскакивал снова, но спичек уже не зажигал, а начинал лихорадочно шарить рукой под подушкой, где лежал пистолет.

Потом он увидел себя в небе, и как бы заново пережил свои двенадцать боевых вылетов, пережил мучительно, дивясь и ужасаясь, как это он еще остался жив. Сейчас, когда вылеты были позади, в прошлом, они вдруг показались ему куда опаснее и страшнее, чем тогда, когда он их делал. Быть может, тут сказывалось, что во время полетов, даже над целью, под зенитками, было яркое солнце, синее небо, слитный гул моторов и рядом — крылом к крылу — боевые друзья, а тут — тьма-тьмущая, хоть глаз выколи, мрачная, как погреб, землянка, где-то в углу пустующие койки сбитых товарищей, стонущая за окном ель и еще какие-то неясные ночные шорохи, короче, все то, что обостряет чувства и нервы до предела, дает необузданный простор самому мрачному воображению. Уставясь в низкий бревенчатый потолок, Ромашков сейчас видел себя не просто в небе, а в какой-то неведомой, безжизненной пустыне, в каком-то бесконечном, никогда не прекращающемся падении, и высота, на которую летчики обычно смотрят как на спасительное средство, на этот раз пугала его, как пугает ребенка темное дно колодца, в которое он заглянул впервые в жизни. У него буквально сосало под ложечкой, когда он вдруг казался себе там одиноким и беспомощным, всеми покинутым, и в этот миг по сути дела не чувствовал ничего, кроме сострадания к себе и жалости.

Спасение от этого наваждения пришло нежданно-негаданно: его сосед по койке, летчик второго звена Воронин, вдруг всхрапнул так оглушительно, что кто-то из спавших в противоположном углу стрелков-радистов мгновенно проснулся и крикнул озлобленно-плаксивым голосом:

— Да разбудите ж его, кто рядом. Спать не дает...

Ромашкову вроде только этого и надо было. Неторопливо стащив с храпуна одеяло, он, хотя тот был

старше его и по возрасту, и по званию, с таким наслаждением саданул его в бок, что Воронин ойкнул и привстал на койке, как поднятый из берлоги медведь. Да он и смахивал на медведя. Такой же неуклюжий и сутулый, с негнущейся короткой шеей, он ходил как-то по-медвежьи нескладно, выворачивая ноги, вечно цеплялся за что-нибудь, задевал. А храпун и засоня был, каких свет не видывал. Правда, пристрастием к храпу в полку отличался и штурман Ромашкова — Олег Платонов, но если Платонов храпел ненадоедливо, даже деликатно, с каким-то музыкальным, вроде бы соловьиным присвистом, то Воронин, наоборот, тяжело, взахлеб, с надрывом и стоном, словно тонул, пуская под водой пузыри, либо один подвешивал под крыло самолета не иначе как стокилограммовую бомбу. А это раздражало, храпуна безжалостно будили, внушительно предлагали сделать одну из фигур высшего пилотажа — «полубочку», то есть перевернуться на другой бок. Случалось, что за ночь его будили не раз, и не два, причем не спеша, отыгрываясь за прерванный сон, с чувством приговаривали: рановато приземлился, давай в зону, крути «полубочку», еще одну... Потом это вошло в привычку, и Воронина, потехи ради, стали будить даже тогда, когда он не храпел.

Но сейчас его лучше было б вовсе не будить, так как, едва продрав глаза, он тут же поделился с Ромашковым солидным и даже, как тому показалось, радостным шепотом:

— Вот сон приснился — жуть. Будто тебя, Ромашков, зенитки шлепнули. Прямо на глазах. Как сейчас вижу, идешь ты от меня слева, рядышком почти, и вдруг — бац! Кстати,— спросил он, давясь зевком,— у нас сегодня что? Пятница? — и словно его осенило, опять протянул вроде обрадованно: — Скажи на милость, она самая, пятница и есть...

Молодой летчик понял: в пятницу, как и в понедельник, сны сбываются. Это, дескать, уже проверено. Будь, мол, начеку. И с раздражением подумал: разбудил толстомясого на свою голову, лучше бы уж спал. А вслух, силясь понять, будет тот слушать или нет, проговорил по возможности ровнее:

— Зенитки, Семен Семеныч, чепуха. Под ними не так страшно. Я еще до прихода к вам в полк, когда

на ночных бомбардировщиках летал, в этом убедился. По мне они уже не один снаряд выпустили, а я — вот он! — жив.

— Все мы покуда живы,— пошуршав одеялом, постным голосом отозвался Воронин.

— Другое дело — «мессера»,— словоохотливо, решив выговориться до конца, продолжал Ромашков.— Вот если они насядут — хлебнешь шилом патоки. После ни один врач в починку не возьмет. Помните, как они Мозгунова рубанули?

— Выходит, зенитки по тебе с зажмуренными глазами стреляют?

— Не в том дело. Просто «мессера», мне думается, опаснее. Тут и спорить нечего. Расчет у них простой: загнал в прицел — дави на гашетку. Без всякой там лишней механики. Вот завтра я пойду на задание, и если уж, не дай бог, случится на кого напороться, так лучше на зенитки...

— Конечно, «мистер» тоже не конфетка,— как всегда, упорно называя «мессера» «мистером», вроде бы согласился Воронин и вдруг спросил:— У тебя сколько вылетов?

— На «По-2» семь и на «пешке» пять.

— На «По-2» не в счет...

От растерянности Ромашков даже присел на койке.

— Это почему же?

— Вот чудак,— охотно и, видимо, не без ухмылки, начал ему усердно втолковывать Воронин.— Ну, скажи на милость, что это за боевой вылет: подойти на «кукурузнике»[1] к «передку», швырнуть куда попало пару бомб и повернуть обратно? Да еще ночью, в темноте?

Ромашков почувствовал, что Воронин над ним потешается. Он с радостью дал бы ему сейчас второго тумака, да не с руки, еще за первый может аукнуться. А потом Воронин как-никак старше его, воевал еще в финскую, даже с самим Чкаловым был знаком, если, конечно, не врет, так что лучше не связываться. Пусть потешится. И с головой накрывшись одеялом, только заметил в щелочку:

— А вы, Семен Семеныч, юморист...

---

[1] Так в шутку называли легкий самолет «По-2».

— Маленько есть,— скромно признался тот.

В молчании прошла еще минута, потом другая. Ромашков не вытерпел — все равно не уснешь — и, вынырнув из-под одеяла, заговорил снова:

— Что это вы насчет вылетов спросили? К чему?

— А ты, парень, отходчив,— перемешав смех с кашлем, отозвался Воронин.— Характер у тебя, значит, ровный. Только по нынешним временам он вроде бы ни к чему. На войне такой характер — плевое дело. Злость требуется. Ну, да ладно. Так ты говоришь, у тебя пять вылетов...

— Товарищ лейтенант!..

— Ладно, ладно, двенадцать,— милостиво согласился Воронин и вдруг, хлопнув себя по лбу, воскликнул чуть ли не на всю землянку:— Ба-а, так у тебя завтра как раз тринадцатый! Фу ты черт, и верно, он самый, тринадцатый, а я и не усек. Ну, брат Ромашков, не завидую я тебе, видит бог, не завидую.

Кровать под Ворониным заскрипела.

Ромашков не вытерпел:

— И впрямь ведь накаркаете, товарищ лейтенант!

— А тут, брат, и каркать нечего. Чертова дюжина — и все тут,— на этот раз уже серьезно заговорил Воронин.— Вот если б ты завтра делал четвертый, или, скажем, восьмой вылет, можно было б не особенно беспокоиться, так как эти вылеты наиболее безопасные, редко когда на них сбивают. А вот на первом и третьем так дают прикурить, что света белого не видно. Девятый — тоже не дай и не приведи, господи. Семнадцатый — тоже лучше не летать...

— А, пожалуй, верно,— неожиданно поддавшись авторитетному тону Воронина, согласился Ромашков.— На третьем меня прожектора нащупали. Хорошо, что низко шел. Вывернулся. А на девятом зенитки в стабилизаторе дыру нарисовали.

— Так я ж и говорю: дело это проверенное,— подобрел голосом Воронин.— Самый же опасный — тринадцатый. А почему — сам понимаешь: чертова дюжина.

— А вы сами-то эту дюжину вроде легко проскочили?

Теперь уже обиделся Воронин.

— А на одном моторе не я домой пришел? — сорвавшись с шепота на голос, возмущенно забасил он.—

А двадцать пробоин? Не я, скажешь, привез? Забыл? К тому же и свои зенитки обстреляли. То-то. Вот я погляжу на тебя, на Фому неверующего, каким ты завтра красавчиком из тринадцатого вернешься. Погляжу, увижу,— и ,видимо, довольный тем, что положил молодого летчика на обе лопатки, как ни в чем не бывало повернулся на другой бок и через минуту захрапел снова.

II

Можно верить и не верить, но доморощенная теория так называемых счастливых, то есть относительно безопасных и опасных вылетов, в то суровое время среди летчиков и в самом деле существовала. Разумеется, всерьез ее никто не принимал хотя бы по той простой причине, что она довольно основательно опровергалась действительностью (роковые совпадения, конечно, не в счет), но тем не менее находились люди, которые при случае задумывались: чем, дескать, черт не шутит, когда боженька спит. Особенно перед тринадцатым вылетом. Кстати, цифра «13» вообще была не в ходу у летчиков, считалась роковой.

Вот потому-то Сергей Ромашков после разговора с Ворониным — не поговорил, а меду напился — и вовсе потерял покой. Забылся он только под утро, да и то ненадолго. Часа через два его разбудил сухой, как выстрел, крик: тревога! Он вмиг, по выработавшейся в училище привычке, сбросил с себя одеяло, привстал на койке и руками протер глаза. В землянке было еще темно, хотя за окном уже вовсю дозревал рассвет.

«Вот он, тринадцатый,— мелькнуло у него в голове.— Даже вставать приходится по тревоге».

Нащупав впотьмах брюки, он потянулся за сапогами. Правого на месте не оказалось. Да и портянки, как на грех, тоже куда-то запропастились. Не иначе, как в суматохе их кто-то принял за свои. Точно — Воронин! Вот косолапый! Пришлось объясняться. И все это молча, жестами, без единого звука. Скрипели лишь половицы, позвякивали пряжки ремней да вжикали застежки-молнии на комбинезонах. И только один раз: «Ногу, ногу, дьявол, говорю, отпусти!»

За ночь выпал снег, первый в этом году, и аэродром, еще вчера серый, по-осеннему грязноватый, показался Ромашкову чужим, незнакомым, его точно подменили

за ночь, сунули взамен другой. Лишь небо над аэродромом оставалось таким же равнодушно-темным, с редкими бледными разводами, сквозь которые скорее угадывалась, чем виднелась непорочная синева бездны.

— Линию фронта только что перешла большая группа «юнкерсов»,— хмуро сообщил командир полка.— Подымаемся в воздух и идем к Шуг-озеру. Переждем там...

На языке летчиков это называлось: вывести самолеты из-под бомбового удара.

Опередив штурмана, Ромашков кинулся к капониру, и тоже еле узнал его: капонир был весь в снегу, показался непомерно большим, чем был на самом деле. Снежная гора, не меньше. И где-то из-под этой горы, словно украдкой, обрубком выглядывал самолет, который техники уже расчехлили и готовили к вылету. Один из техников с ходу накинул Ромашкову парашют, помог вскарабкаться в кабину. Бронеспинку он закрепил уже сам и оглянулся, не мешкает ли штурман. Штурман, Олег Платонов, тоже быстро занял свое место в кабине, проверил, у себя ли стрелок-радист, и уже давал технику знать, чтобы тот закрывал люк. Люк почему-то долго не закрывался, а когда закрылся, закапризничал левый мотор. Правый запустился сразу, а вот левый — ни в какую. Ромашков мгновенно взмок, прыгающим взглядом окинул приборную доску — вроде бы все в порядке. Не помог и штурман, на которого он затем глянул с мольбой и надеждой.

Тем временем небо над стоянкой перечеркнула красная ракета, и самолеты, словно серые мыши из нор, один за другим порулили на старт. Первым взлетел командир, за ним, в порядке звеньевой очередности, остальные. И аэродром стало не узнать: он враз почернел, появились плешины и полосы, припудренные серой снежной пылью. И небо вроде бы посерело, заходило волнами: его словно взболтали тугие струи воздушных винтов машин, торопливо покинувших землю...

Купаясь в поту, Ромашков продолжал гонять по лбу морщины, потом вдруг высунулся из боковой форточки и что-то показал руками технику Косолапову. Тот согласно кивнул головой — и вскоре над левым мотором, как добрый вестник, тоже вспыхнул и тут же растаял голу-

боватый дымок. Все — теперь можно выруливать. Сектора газа вперед. Энергичнее.

Моторы взревели дружно, в один голос, и самолет, будто зверь из клетки, вырвался из капонира и, тоненько, как бы от радости, повизгивая тормозами, покатил на старт.

Ромашков перевел дух и виновато улыбнулся.

Вот и старт. Сейчас он развернет самолет по направлению взлета и — прощай, земля-матушка. Но сделать этого не успел. Глянув напоследок в сторону невысокой, двухгорбой сопки, от подножия которой, если подлетать с запада, по сути и начинался аэродром, Ромашков вдруг увидел двухмоторный бомбардировщик. Бомбардировщик шел низко, почти под самой кромкой серых облаков. Ромашков сперва подумал, что это кто-то из оторвавшихся от строя однополчан, но тут же понял свою ошибку — на фюзеляже бомбардировщика, точно по центру, блеснул масляным отливом черный фашистский крест. Сомнений больше не было — «юнкерс». Значит, о взлете теперь и думать нечего. Пришьет к земле так, что клещами не отдерешь.

«Вот он, сон в руку»,— с замиранием сердца, уже второй раз за утро, подумал молодой летчик и, сам того не замечая, приплясывающим пальцем скинул предохранитель с гашетки пулеметов, потом так же машинально поставил его на место.

«Юнкерс» продолжал висеть над сопкой.

Что делать? Покинуть самолет и укрыться в ближайшей щели? Пожалуй, сейчас это было бы самым разумным. И единственно возможным. Хотя вряд ли. Все равно не успеть. Пока штурман откроет люк, немец будет уже здесь и приголубит, как миленьких. Только мокрое место останется. Но что же тогда? Что? Сидеть сиднем и покорно ждать: авось обойдется?.. Глупее не придумаешь, и Ромашков готов был взвыть от беспомощности и обиды...

А «юнкерс» уже совсем близко. У него даже видны створки открытых бомболюков. И черные дула пулеметов. По спине летчика прошлась поземка, запокалывало в лопатках. Это был уже страх. Цепкий. Как рачья клешня.

И вдруг, словно сквозь сон, откуда-то издалека, спокойный, размеренный голос штурмана:

— Развернись! На сто восемьдесят! — и характерный взмах рукой.— Я его сейчас из турельного[1] достану. Развернись! — и потом уже лютуя:— Развернись, тебе говорят!

«И верно,— мысленно ахнул Ромашков.— Достанет»,— и взгляд его, до этого завьюженный ужасом, вмиг оттаял. И рука уже не приплясывала, когда, нажав на правый тормоз, он тут же резко дал газ левому мотору.

— Стоп! — крикнул штурман, когда самолет встал как раз хвостом к сопке и висевшему над нею «юнкерсу», и вслед за этим коротким «стоп» вдруг длинная пулеметная очередь кинула навзничь небо, всколыхнула серые облака, тошнотворной гарью хлестнула в кабину.

Ромашков не видел, как «юнкерс», словно ошалев от боли, в тот же миг круто встал на дыбы, потом, торопливо кутаясь в рыжую шаль, раздуваемую ветром, стал медленно и неудержимо заваливаться влево и вниз до тех пор, пока не уперся крылом в верхушки далеких тополей. Не видел он и вырвавшегося вскоре оттуда огромного, похожего на гриб, облака дыма. Следующим движением он развернул самолет строго по направлению взлета и дал газ. Дал намеренно не торопясь, с выдержкой, словно ничего особенного не произошло, и тут же почувствовал, как его несильно вдавило в сиденье и прижало к бронеспинке: почти мгновенно набрав скорость, самолет уже через секунду оставил позади себя окутанную снежной пылью первую половину аэродрома, затем другую и вдруг перестал касаться земли...

III

— Это еще цветочки,— насмешливо говорил Ромашкову Воронин, когда через полчаса с небольшим, удачно избежав бомбового удара, полк вернулся на аэродром.— Ягодки будут впереди. Видишь, сколько дров наломали...

Что он подразумевал под словом «ягодки», было не ясно. Да Ромашков и не слушал его. Стоя на краю воронки и машинально подгребая в нее ногой рыхлую,

---

[1] Пулемет штурмана с задней, боковой и верхней зонами стрельбы.

перемешанную со снегом, землю, он силился сообразить: сотка угодила в его капонир или полусотка? Для сотки воронка вроде бы маловата, для полусотки — явно велика. Но и семидесятипятикилограммовых бомб не бывает. В том числе и у немцев, конечно. Так какая же? Наконец, решил: сотка, и облегченно, словно после ходьбы в гору, вздохнул. Воронин, верно, не понял его, истолковал вздох по-своему и проговорил уже без насмешки:

— Ничего не попишешь, брат, война-а,— и вдруг добавил восхищенно: — А штурман твой зверь! С первой же очереди его срезал. Ма-ла-дец!..

Над складами с горючим, что окопались за лесом, возле озерка, все еще павлиньим хвостом качалось пламя. Пластался дым, правда, уже без огня, идя на убыль, и над клубной землянкой — в нее тоже прямехонько угодила бомба. Следы налета виднелись и на взлетной полосе, где уже, заделывая их, суетились люди из БАО, сновали тракторы с игольчатыми катками.

Оказывается, к аэродрому, едва Ромашков успел взлететь, прорвались поодиночке еще четыре «юнкерса». Зенитки пытались их отогнать, да безуспешно. Вот они и порезвились здесь вволюшку, пока неподоспели с перехвата лагги»[1] и не заставили их повернуть обратно.

— Зенитчиков наших надо соломой кормить, вот что я скажу,— следуя, видимо, своему ходу мыслей, охотно продолжал Воронин, все еще не замечая, что Ромашков не слушает его.— За работу их такую. Лупят в белый свет, что в копеечку. Хоть бы одного сбили. А вот по своим пулять наловчились. Прошлый раз, помнишь, меня за «сто десятого»[2] приняли?.. Так чуть надвое не разворотили. Не разобрали, говорят...

Ромашков, наконец, улыбнулся — он был очевидцем этого случая. Воронин тогда ходил в одиночку на разведку с бомбометанием, вернулся домой с пробоинами, но довольный — жив! — а тут его свои же зенитки в переплет взяли. После он дня три бушевал, все грозился с ними расквитаться.

---

[1] Истребители «Лагг-3» были на вооружении наших ВВС в первые годы войны.

[2] Имеется в виду «Мессершмитт-110», похожий на нашего «Петлякова-2».

— Соломой их кормить надо, вот что,— повторил Воронин в сердцах и для вящей убедительности дернул Ромашкова за рукав.

— А немцев? Немецких зенитчиков? — вдруг спросил Ромашков все с той же беспричинной улыбкой и опять швырнул в яму ком земли.

Воронин подождал, пока ком не шлепнулся на дно, и только после этого ответил убежденно:

— Шоколадом. Работают чисто. Не то что наши. Помнишь, на тринадцатом меня прижучили — не думал в живых остаться...

Ромашков поморщился: опять за рыбу деньги. Он и думать-то о тринадцатом давно перестал, а этот снова за старое, напоминает. Вот толстомясый. Другого ему ничего в голову не пришло. Лучше бы уж о своем знакомстве с Валерием Павловичем рассказывал, о том, как с ним в бане парился, в знаменитых Сандунах, как там друг друга веничком хлестали и банщика коньяком допьяна напоили. Ведь он любит об этом рассказывать. Правда, привирает, наверно, а может, и вовсе врет. Да уж больно занятно. Во всяком случае, ребята его слушают с удовольствием, гогочут, как жеребцы.

А Валерий Павлович, между прочим, его, Сергея Ромашкова, любимый герой, и родился он, если память не изменяет, 2 февраля 1904 года, на Волге. Точно, не забыл. А погиб? Когда же он погиб? Ах, да — 15 декабря 1938. Дни, выходит, разные. 2 февраля и 15 декабря — разрыв побольше десяти месяцев. Да и вообще, наверно, так не бывает, чтоб человек погиб или умер в тот же день, в какой и родился, то есть в один и тот же месяц, в одно и то же число. Конечно, не бывает. Помнится, он еще в детстве любил листать календари — и отрывные, и настольные — и ни разу там не встречал, чтобы какой-нибудь знаменитый человек, скажем, революционер, артист, ученый, писатель умер или погиб в тот же день, что и родился. Не было такого. Даты рождения и смерти всегда оказывались разными, никогда не совпадали. Это уж точно. И с ним, Ромашковым, такого не должно случиться. Ну как же это: день рождения, и чтоб сбили? Смешно даже. И с головой уйдя в эту спасительную, как громоотвод, статистику, Ромашков и не заметил, как Воронин снова глянул на него

настороженно, будто на больного, а спохватившись, вдруг густо покраснел и расхохотался.

— Что с тобой? — еще больше округлил глаза Воронин и по привычке потрогал себя за нос: не над ним ли, дескать?

— День рождения у меня сегодня...

— А чего зубы скалишь?

— Радуюсь. Событие же...

— Радуешься? — все еще настороженно и послужебному строго переспросил тот, оставив, наконец, в покое нос. — И сколько же тебе стукнуло?

— Двадцать, товарищ лейтенант.

— На пять лет, значит, моложе. Ну что ж, поздравляю!

— Спасибо, товарищ лейтенант!

— Из «спасибо» шубу не сошьешь.

— Так ведь скоро, сказали, боевой вылет. На задание. После уж, вечерком, Семен Семеныч.

— Само собой, вечерком.

Потом они отправились в столовую завтракать, и всю дорогу Воронин опять не слезал со своего любимого конька, продолжал на все лады расхваливать немецких зенитчиков и, на чем свет стоит, поносить наших. Рикошетом досталось и истребителям, не сумевшим перехватить «юнкерсов», допустивших их на аэродром. Ромашков опять слушал его и не слушал, хотя время от времени и вскидывал на него недоуменный, приправленный грустинкой, взгляд своих голубых, под небо, глаз. Как ни странно, но голос Воронина — ни его слова и фразы, которые доходили до него смутно, отрывочно, а именно голос, глухой, вроде простуженный — был сейчас абсолютно созвучен внутреннему состоянию молодого летчика, точно бы ложился бальзамом на его душу. Ночной разговор в землянке, казалось, должен был оттолкнуть Ромашкова от Воронина, вызвать к нему неприязнь или хотя бы отчуждение, но ничего подобного теперь, при свете дня, он не испытывал. Наоборот, сейчас Ромашкова даже тянуло к Воронину, словно ночь ненароком сблизила их, положила между ними начало каким-то не совсем обычным, чуточку таинственным отношениям.

Место в столовой они выбрали в самом углу, под черной тарелкой старенького репродуктора, и Воронин,

погрузившись в изучение меню, наконец умолк. Зато говорили другие — шумно, чуть ли не все разом. И все больше о сбитом «юнкерсе», о находчивости Олега Платонова, о том, что клубной землянки теперь нет, разбомбили, и танцевать придется под открытым небом, на снегу, и, как всегда,— ни слова о предстоящем вылете: не принято. Слетать на задание — не к теще на блины сходить, всякое может случиться, в том числе и самое худшее. Так что уж лучше не задумываться, не гадать, что и как, не искушать судьбу бесплодными разговорами. Делу, как говорится, время, а потехе — час. Вот летчики и сидели за завтраком, болтая о чем угодно, только не о предстоящем вылете, хотя, быть может, каждый думал именно о нем. После «юнкерса» и сгоревшей землянки разговор перешел на новые машины, которые, по слухам, должны вот-вот заменить неуклюжих «лаггов» и тихоходных «ишаков» [1], потом кто-то из штурманов рассказал, что недавно получил от матери письмо, в котором та его слезно просит «летать пониже и потише», а то, дескать, и разбиться можно. «Ну, и что ты ей ответил?» — с улыбкой спрашивали его. «Пока ничего,— разводил тот руками.— Боюсь обидеть. Мать все-таки, жалко».

«Мне ведь мать советует, по существу, то же самое»,— мысленно улыбнулся Ромашков и, глянув на часы, приналег на завтрак.

До вылета оставалось еще минут сорок, и он решил из столовой забежать в землянку, где размещалась полевая почта, узнать, нет ли письма. Письма не оказалось, и он вышел оттуда пасмурным: неужто мать забыла его с днем рождения поздравить? Вряд ли. Скорее всего, почта виновата. Поезда, говорят, сейчас не по расписанию ходят, задерживаются, особенно в прифронтовой полосе. Бомбят их там нещадно. Вот письмо и задержалось где-то в пути. Ну, ничего, не сегодня, так завтра придет. Днем позже, днем раньше — какая разница. И все же настроение у летчика упало.

А тут еще техник самолета Косолапов, пропади он пропадом, своими бесконечными байками на раны соли посыпал. Невольно, конечно, а посыпал. Пришел Ромаш-

---

[1] Наш истребитель «И-16».

ков на стоянку, а Косолапов уже там. И не один. Возле него, как всегда, мотористы. Даже техник соседнего самолета Федор Дуболаз притопал. Хохочут. Особенно Дуболаз. Аж глаза под лоб уходят. И лиловеет от натуги. Ромашков подошел ближе и, никем не замеченный, прислушался — любопытно все же...

— Ты, Федя, умница,— снисходительно говорил Косолапов пучеглазому Дуболазу.— Как пить дать. Только дурость в тебе перевешивает. Это тоже точно. Ну как ты не можешь понять, что большое звание мне ни к чему. Лишнее, можно сказать, в тягость. Меня и младший техник-лейтенант устраивает.

— Выходит, всю жизнь согласен в этом чине ходить? — хохотнул Дуболаз.— До седых волос? — и добавил с ехидцей:— Твое дело, а только по годам тебе пора бы инженер-майором быть.

— А я говорю, мне это без надобности, лишний груз,— рассудительно отвечал Косолапов.— По мне вечный младший техник-лейтенант лучше, чем мертвый капитан или майор.

— Как мертвый? — остолбенел Дуболаз.

— А так,— стараясь быть серьезным, продолжал Косолапов, хотя в глазах его билось лукавство.— Только ты не щерься, а слушай. Вот приходит, к примеру, к нам в эскадрилью молодой летчик. Кто он по званию? Сержант. Не больше. А я, заметь, младший техник-лейтенант. Ну, полетал он немного, повоевал, и ему, как положено, дают старшего сержанта, потом старшину. А я все младший техник-лейтенант. Потом летчик получает младшего лейтенанта, а там и орден. За храбрость. А вскоре на погоны третью звездочку, четвертую. В общем, растет парень, в гору идет. А я все младший техник-лейтенант. Ни туда ни сюда.

— Ну и что?

— А то, что летчику вскоре уже и майора дают, а там и Героя присваивают, а я все в том же, неизменном чине — младший техник-лейтенант. Технарь, значит, масляное пузо, гаечный ключ.

— Вот видишь!

— А ты дальше слушай...

— Что же?

— А то, что майора в одном из вылетов вскоре сбивают. Допер? Сбивают. Бац — и нету его. И

родным — похоронную. А я, заметь, все так же младший техник-лейтенант.

При последних словах Косолапова и без того шарообразное лицо Дуболаза стало похожим на подсолнух — беззвучный смех буквально разодрал его рот до ушей. Загоготали и остальные, смачно, не сдерживаясь.

Будь это в другой раз, Ромашков тоже бы посмеялся вместе со всеми, посмеялся бы от души, но сейчас шутка Косолапова невольно опять напомнила ему о предстоящем — тринадцатом по счету — вылете, короче, вызвала лишь горечь и раздражение.

«Старый юморист,— неприязненно подумал он о технике.— Любит языком почесать»,— и, выйдя из-за капонира, не говоря никому ни слова, необычно быстро зашагал к открытому люку самолета, к которому тут же метнулся кто-то из мотористов.

Ромашков молча отстранил его — не надо, сам! — и так же молча полез в кабину.

IV

Самолет шел так низко, что тень его отчетливо вырисовывалась на розоватом отливе молодого, недавно выпавшего снега, и лишь когда он подминал под себя зеленую щетину лесов, тень расплывалась, теряла очертания и казалась обыкновенным серым пятном. Но проходила минута, другая, и тень снова распрямлялась, обретала крылья, снова легко и свободно неслась по нетронутой снежной пелене, словно бы стараясь обогнать самолет, вырваться из-под его власти.

Внешне спокойный, даже сдержанный, Ромашков ликовал, кровь ходуном ходила в его жилах; несмотря на мрачные предчувствия, вылет — роковой, тринадцатый — заканчивался удачно. Он уже перешел, вернее, проскочил линию фронта, оставив ни с чем ходивших над нею, на высоте четырех-пяти тысяч метров, «мессеров», и возвращался обратно, не имея на борту ни единой пробоины. Ну и посмеется же он теперь над Ворониным. Да и над собою тоже. Ведь когда он взобрался в самолет и моторист захлопнул за ним люк, ему почудилось, что это захлопнулась крышка гроба. Он тогда так и сказал себе: «Это конец!» Но, слава богу и авиаконструктору Владимиру Петлякову, теперь все это позади,

как дурной сон, сейчас, вот-вот, покажется аэродром, и он опять будет дома, в кругу друзей и знакомых, и, хмелея от этого, молодой летчик еще ниже пустил свою послушную машину, и она теперь чуть ли не рубила винтами верхушки деревьев, глотала пространство с такой огромной быстротой, что стоило бросить взгляд под крыло, как у него рябило в глазах: ни лесу, ни снегу под крылом не было, а был лишь сплошной изумрудно-белый океан солнц, который кипел, плавился, бурлил и щукой нырял в разверстые в крике пасти моторов. Тугая волна била по этому клокочущему океану, гоняла по нему зыбь и выплескивала далеко в поднебесье долго не умирающий, смягченный далью рев стальных глоток. От рева ник, с запозданием клоня голову, лес, встряхивались ото сна синие сопки, испуганно металась, тыкаясь со слепу в крутизну берегов, бледная, наполовину взятая ледком, речка.

Аэродром показался не сразу. Сперва всплыла, как поплавок на воде, двухгорбая сопка, которая с этой, западной стороны, еще больше походила на верблюда с заломленной на бок головой. Только горбы по цвету разнились. Правый, густо поросший лесом, отливал синевой, левый же, наоборот, казался тощим, был в подпалинах — скальные выступы пятнали его, как грибы-поганки. На нем даже снегу не виднелось. Снег лежал лишь внизу, у подножия, на небольшой серпообразной поляне.

Над этой поляной Ромашков и взял штурвал на себя. И самолет, точно озлясь, что его оторвали от игры с собственной тенью, с болезненным стоном ввинтился ввысь — и тотчас же под крылом, напоказ выставив серое брюхо посадочной, доверчиво разлегся аэродром.

Так делал не один Ромашков. Каждый, кто возвращался с задания на бреющем, возникал из-за сопки внезапно, словно из-под земли, выражая этим радость возвращения и показывая, что экипаж цел и невредим, на борту все в порядке. И на аэродроме это знали, к этому привыкли.

Но не все...

Едва Ромашков, уже на высоте тысячи метров, которые он набрал на «горке», перевел машину в горизонтальное положение, чтобы начать расчет на посадку, вдруг справа по борту вспыхнули три дымчатых облачка,

Потом еще. И еще. Проклятье — зенитки! Неужели он перепутал аэродром, вышел на другой, вражеский? Нет, аэродром свой. Вон и стоянка их эскадрильи, что полудужьем огибает взлетную с запада, и дорожка, что ведет на КП. А потом эта двухгорбая сопка — разве ее спутаешь с другой? Ни в жизнь! Таких двух на всем белом свете не сыщешь. Значит, опять зенитчики не разобрались, опять «пешку» за «Мессершмитта-110» приняли. И Ромашков, торопливо качнув крыльями — «я свой»,— тут же кинул машину вправо, в сторону разрывов, а затем, толкнув штурвал едва не до приборов, прижал ее к земле, оставив через мгновенье позади себя и аэродром, и негостеприимно встретивших его зенитчиков. Но, странное дело, злости или даже обиды не почувствовал. И не потому, что не увидел в этом ничего опасного. Наоборот, знал, что все это могло кончиться плохо, знал, но не хотел об этом думать. Слишком уж сейчас у него было хорошее настроение, чтобы омрачать его случайным недоразумением. Он удачно сходил на задание, из которого не чаял вернуться, перехитрил «мессеров», и этого было достаточно, чтобы заслонить все другое. А потом ведь на батарее у него есть добрая волшебница, радистка Аленка, с которой он както познакомился на танцах. Не девчонка — загляденье! И роста вроде небольшого, угловатая даже, как подросток, а чудо, каких свет не видывал. Щедро ей всего природа отпустила. Другим — недодала, поскупилась, а ей — полной горстью. Так что на зенитчиков и обижаться грех, коль там, на батарее, такая девчонка, как Аленка, служит.

Но иначе отнеслись к этому остальные летчики — уже вернувшиеся и только еще собиравшиеся на вылет. Увидев, что Ромашкова, а пятью минутами раньше Воронина едва не сбили свои же зенитчики, они начали призывать на их головы все громы небесные. Особенно бушевал Воронин. Без шлемофона, с кажущейся непомерно большой головой из-за всклокоченных, давно не стриженных волос, он чуть ли не с кулаками наседал на хранившего хладнокровие начальника штаба полка, словно не зенитчики, а он, начштаба, был виноват в случившемся.

— Дожили! — багровея от волнения, шумел он на всю стоянку.— И немцы бьют, и свои житья не дают. А мы

слова не скажи. Ну, уж нет! В следующий раз вот шарахну по ним фугаской, тогда, небось, враз прозреют. А то — не разобрали. Ей-богу, товарищ майор, вот полечу завтра на задание и прочешу их из пулеметов.

— Под трибунал захотел?

— И пойду! Все лучше, чем над зенитками,— катая белки глаз, продолжал бушевать Воронин.— Верно, кацо? — обратился он затем к своему штурману Дмитрию Габуния.

— Не в глаза же будем глядеть,— охотно и многозначительно согласился тот.

В столовой, куда летчики вскоре всей гурьбой перебрались обедать, страсти на этот счет не только не улеглись, а наоборот, разгорелись с новой силой. И опять больше всех кипятился Воронин. Хватив «боевые сто граммов» за себя да еще за кого-то из непьющих, он снова начал клясться и божиться, что это дело не оставит, проучит зенитчиков так, что чертям в аду тошно станет.

— Ну, скажите, друзья, разве можно терпеть такое? — поминутно отставляя тарелку с остывающим супом в сторону, грудью припадал он то к одному, то к другому.— Нет ведь? — И, со всех сторон в избытке получая сочувствие и поддержку, распалялся еще больше.

Подливал масла в огонь и Габуния. Он тоже приставал к сидевшим вокруг летчикам и, дергая себя за ус, говорил с невероятным кавказским акцентом:

— Почему я должен принимать смерть от своих же, по существу у себя дома, уже после того, как здорово порисковал жизнью там, за линией фронта? По-че-му? — И добавлял с ожесточением:— Прочесать их надо из пулеметов. Прочесать!

Слушая их, Ромашков только диву давался: вот кровожадины. И откуда в них столько злости? Ну, ошиблись ребята, малость напутали, так не стрелять же их за это в самом деле? Ведь и летчики, бывало, своих бомбили. Вон командир второго звена их эскадрильи один раз так по своей матушке-пехоте шарахнул, что, сказывают, полроты выкосил. Правда, пехота тогда сама была виновата, не обозначила себя вовремя: реку форсировала, на другом берегу закрепилась, а сообщить об этом не сообщила. Вот командир звена, не имея новых дан-

ных, располагая только старыми, и саданул по ней с пикирования, думал, что немцы. На войне ведь всякое бывает. Почище этого даже. А они — стрелять.

Но когда, вняв чьим-то уговорам, он тоже, как и Воронин, пропустил лишнюю рюмку водки — день рождения же! — вся история вдруг показалась ему вовсе не такой уж безоблачной — на нее легло серое облако страха. И злости. В том числе злости на себя за то, что уже дважды за день позволил себе поддаться этому страху.

«Могли сбить,— уже тоскливо, заерзав на стуле, подумал он.— Могли. Да еще в день рождения. А за что? Ни за понюшку табаку. Просто по ошибке. Ничего себе!» — и, наливаясь бледностью — все вдруг в этот миг припомнилось молодому летчику: и неуютная, как погреб, землянка, и бессонная ночь, и «юнкерс» над сопкой,— окончательно решил, что дела этого и точно оставлять нельзя, не то завтра все повторится снова, только с более печальным концом. «Собьют, как пить дать, собьют. На тринадцатом не сбили, так на четырнадцатом или пятнадцатом срежут. Рука у них не дрогнет. Наловчились». И Ромашков, еще минуту назад тихо и мирно сидевший в углу за крайним столиком, даже втихомолку посмеивавшийся над куражившимися дружками Воронина, вдруг открыто поддержал их, когда они предложили тотчас же отправиться к зенитчикам и «вправить им мозги». Даже крикнул по-мальчишечьи запальчиво:

— Рожи растворожим, зубы на зубы помножим!..

V

В полутора километрах от аэродрома, строго на юг, проходил глубокий и узкий, похожий на ущелье, овраг, по дну которого протекал ручей. Через ручей были перекинуты временные, в две жердины, мостки, прогнувшиеся почти до воды. Сразу же за мостками тропинка раздваивалась: левая, отлогая, вела на ложный аэродром, другая прямо на вершину крутобокой — задерешь голову — в глазах желтеет — сопки, на которой, как в крепости, и располагались зенитчики.

Когда летчики шумной ватагой выбрались из оврага и, чтобы перевести дух, на минуту остановились у под-

ножия сопки, на краю вершины, словно изваяние, вырос солдат с винтовкой, видно, часовой.

— Чего надо, товарищи? — перегнувшись вниз, сиплым голосом крикнул он летчикам и, сделав еще несколько осторожных шагов по выдолбленной приступками, почти отвесно спускавшейся тропинке, добавил уже с наивным простодушием:— Никак у вас сабантуй, ребята?

— Сабантуй! — понеслось в ответ.— Угадал! Попал пальцем в небо! Спускайся, вместе отпразднуем!

— Нет, верно, чего вам? — уже настороженно повторил солдат.

— Командира! Главного! Кто дает команду по своим стрелять! — через силу сделав несколько шагов вверх по тропинке и тут же съехав обратно — круто слишком, не удержишься,— озлобленно прохрипел Воронин и смачно выругался.— Разговор у нас к нему. Охота по душам потолковать!

Солдат понимающе хмыкнул, для чего-то похлопал себя по бедрам и, не спуская с летчиков цепкого взгляда, попятился назад, дал какой-то знак.

Через минуту на вершине появилось трое военных, в том числе женщина. Один из них, в стеганке, перехваченной ремнем, с револьвером на боку, выступил вперед и зычно крикнул:

— Я — командир батареи капитан Сапожников. Из-за чего шум, товарищи, что надо?

Летчики какое-то мгновение молчали, с холодным любопытством разглядывая командира и его спутников, потом вдруг кто-то произнес с наивным изумлением:

— Не похоже что-то,— и, уже явно разыгрывая из себя дурачка, пьяной скороговоркой:— А документ есть?

— Какой документ?

— А может, ты — папа римский...

Кто-то не выдержал и хохотнул. За ним — остальные. Уже дружно, не сдерживаясь, во весь голос, точно их выворачивало наизнанку. А средь хохота — круто приправленное перцем:

— Какой же ты командир, если велишь по своим стрелять!

— Тебе не батареей командовать, а сапоги тачать. И фамилия у тебя подходящая — Сапожников.

Но были и трезвые голоса, попытавшиеся сгладить столь явно недипломатическое начало:

— Почему сегодня опять стреляли?

— Когда это кончится?

На вершине сопки началось нечто вроде совещания. Потом, когда наиболее ретивые из летчиков поутихли, дали перерыв глоткам, командир батареи опять выступил вперед и громко, чтобы всем было слышно, крикнул:

— Дело это — сложное, товарищи. Разбираться будем с вашим командованием. Вам сейчас не понять. Вы же «под градусом». Лучше ступайте домой.

И внять бы этому разумному совету командира, послушаться старшего. Так нет. Летчики, посчитав, что с ними просто-напросто не хотят разговаривать, дают от ворот поворот, подзуживаемые Ворониным, еще больше в раж вошли. Теперь им было уже не до переговоров. Лишь бы свое самолюбие потешить, злость сорвать. И конечно же — на командире, на старшем из зенитчиков.

— А ты нас поил? — понеслось в ответ.

— Сам, небось, четвертями глушишь. И сапогом закусываешь.

Кто-то даже пропел на мотив известной песенки:

Три танкиста выпили по триста,
Батареец выпил девятьсот...

Командир, видно, начал терять терпение, поднял руку и предупредил еще раз, уже не без угрозы:

— Если не прекратите валять дурака, пеняйте на себя. Так что, пока не поздно, отправляйтесь на аэродром. Подобру-поздорову.

— А не то из пулеметов покосим! — добавил не так громко, но все же довольно отчетливо, другой, в шинели нараспашку.

Летчиков это взорвало пуще прежнего.

— Угрожаете? Из пушек не получается, так из пулеметов хотите. А если мы вас с самолетов? Тогда как? Стрелять ведь и мы умеем. И бомбочкой угостить можем. Потом век из штанов выгребать будете!

Вместе со всеми, синий от натуги, надрывался и Ромашков.

— Съезжайте сюда! — кричал он ломающимся от возбуждения голосом.— Враз мозги припудрим.

— Я тебе припудрю, молокосос! — отыскав его глазами, рявкнул, словно из пушки бухнул, командир и сделал шаг вперед.

— Так это же Сергей! — в тот же миг раздался из-за спины командира удивленный женский голос.— Сережа, это ты?

Ромашков враз покрылся испариной — на вершине сопки, у самого края, появилась Аленка. На фоне чистого и теперь уже порозовевшего от заката неба ее небольшая, по-девичьи угловатая и воинственная фигурка, в стеганке и кирзовых, с широкими голенищами сапогах, выделялась настолько рельефно, что показалась ему нарисованной, и он, глядя на нее во все глаза, но решив не отзываться, чувствовал, что восхищается ею и одновременно злится за то, что она узнала его. Ну как же это он не подумал, что может здесь с нею встретиться? А? Вот дурак! И хмель тотчас покинул его. Стало нестерпимо стыдно. И до брезгливости гадко. Будто его раздели донага и выставили напоказ. Любуйтесь, дескать, каков красавчик! В общем, вот оно — в чужом пиру похмелье. Пришло, припожаловало. И Ромашков, почти перестав дышать, затравленно глянул по сторонам: авось в кусты либо за валун дернуть удастся. Но ни кустов, ни валунов поблизости не было.

— Что же ты молчишь, Сергей? — снова, как пощечина, упало на него сверху.— Стыдно?

— Стыд не дым, красавица, глаза не ест,— видя, что тот воды в рот набрал, ответил за Ромашкова Габуния и в свою очередь спросил с чрезмерной учтивостью:— Вы сегодня по нему тоже стрелять изволили?

— Куда ей,— засмеялся кто-то.— Разве только глазами. Они у нее, глянь, крупнокалиберные.

— Верно,— поддержал другой.— Шестидюймовые. Стрельнет — душа сразу в рай запросится.

И снова — смех, зубоскальство. И снова, срывая голос, командир батареи пригрозил уже открыто:

— Если сейчас же не уйдете, вызову караул!

А летчикам и эта угроза, что пустой звук: хмель еще крепко кружил им голову, мутил рассудок. А пуще того — обида. Горькая, как отрава. И самолюбие с гордостью. Многим из них еще в самом начале, как только

командир был освистан, стало ясно, что никакого разговора с зенитчиками не получится, что вся эта затея обречена на провал, и все-таки упорствовали, продолжали стоять на своем. Как, дескать, так: мы, летчики, и вдруг повернем обратно? И перед кем? Перед зенитчиками? Ну уж нет, не выйдет. Ведь они перед нами виноваты. Вот и пусть держат ответ по чести, по совести. И, задрав головы, упрямо кричали:

— Не уйдем! Сегодня потолкуем. Спускайся! А не то завтра вы по нас опять палить начнете!

И вдруг — выстрел. Прозвучал он, несмотря на гвалт и крики, так необычно громко и резко, что все невольно замерли, растерянно глянули друг на друга, потом все разом — на Воронина. Сперва с недоумением, затем оторопело,— кажись, через край хватил, не надо бы, пожалуй. Как бы боком не вышло. Воронин же и бровью не повел. Ложно истолковав остановившиеся на нем взгляды, вроде бы поощряемый ими, он, едва рассеялся дым от выстрела, снова схватился за пистолет, намереваясь разрядить его в воздух, но в тот же момент с вершины сопки грянуло, как в колокол:

— Ба-та-рея! В ружье-о-о!..

И солоно бы, верно, пришлось летчикам, если б за спиной у них, из оврага, вдруг в тот же момент не появилась большая группа техников и мотористов во главе с командиром полка. Узнав от поваров, что летчики, хлебнув хмельного, отправились сводить счеты с зенитчиками, командир полка, человек уже в годах, тут же собрал пару десятков свободных от работы людей и бросился с ними на батарею. Ромашков сперва даже не сообразил, кто это и зачем вдруг облапил его сзади, вынул из кобуры пистолет и потащил вниз, на пятачок. В себя пришел он лишь тогда, когда облапивший его сержант, здоровяк из здоровяков, осторожно, словно ребенка, поставил его на ноги и пробасил добродушно:

— Извиняйте, ежели маненечко помял. Действуем согласно приказу.

Быстро, без особого шума, были приведены в чувство и остальные. Только Воронин еще довольно долго буйствовал, но коротко брошенное командиром полка — пойдете под трибунал! — отрезвило и его. И он, понуро опустив голову, но все еще с задымленным взглядом,

тяжело дыша от обиды и унижения, дал себя обезоружить.

* * *

— К вам, сержант, вечор девчушка прибегала,— точно по секрету сообщил Ромашкову на другой день пожилой благообразный солдат, что охранял посаженных под арест летчиков в специально отведенной для этого землянке.— Шустрая такая, с красными погонами. С батареи, видать. Поздравить, говорит, хотела. А вот с чем, не сказала.

— С днем рождения, верно...

— Это как же? День рождения, а вы — на губе. Не повезло, выходит?

— Не повезло, папаша. Тринадцатый вылет! Чертова дюжина!

— А-а, чертова. Бывает, бывает,— охотно и глубокомысленно согласился солдат и, уже перейдя на житейскую прозу, добавил с виноватым видом:— Табачком, случаем, не богаты? Не разживусь на закрутку?

ОТВАГА

I

Алексей Анохин только что проснулся. По обыкновению, выйдя из землянки, чтобы размять кости, как в шутку говорили о нем летчики, он с удивлением заметил, что вчерашняя метель утихла. О ней напоминали лишь высокие сугробы да переметенные тропинки, уходившие на аэродром, к самолетам. Сугробы с их зализанными ветром гребнями походили на вздыбившиеся волны, которые, так и не успев рухнуть в пучину, вдруг застыли, накрепко скованные нежданно ударившим морозом.

Свежий волчий след — эти глубокие, осыпавшиеся по краям вмятины Анохин увидел сразу — почти вплотную подходил к низкому, в две ступеньки, крыльцу землянки, затем, ненадолго пропав за одним из сугробов, снова поворачивал назад, на этот раз уже к крохотному оконцу, весело глядевшему на мир морозной росписью неведомого цветка.

— Н-да, поздновато я вышел, жаль,— невольно понизив голос до шепота, точно зверь все еще рыскал где-то поблизости, проговорил Анохин и присел на корточки, чтобы получше разглядеть след.— Видать, матерый, тяжело шел,— все так же шепотом добавил он, зябко поводя плечами.

Потом встал, настороженно огляделся по сторонам, прислушался.

Кругом было тихо, спокойно. Даже вечно ворчливый, всегда на что-то жалующийся темный лес, окружавший землянки летчиков, на этот раз не шумел. Густо окутанный туманом, он стоял молчаливо, не шелохнувшись, покорно опустив свои отяжелевшие от снега ветви, точно навсегда смиренный непогодой, наконец-то признавший над собой ее власть, хотя еще накануне он сопротив-

лялся ей, смело принимал на свою грудь один могучий удар за другим. Покорным, безмятежным было и небо. Скидывая темный полог ночи, оно заметно бледнело, набирало голубизну, новые, уже дневные краски. Слабый ветерок неторопливо сгонял с него редкие, сиротливые облака, меж которыми кое-где еще тускло мерцали одинокие звезды.

Повсюду, куда ни кинь взгляд, аэродром окружали похожие друг на друга холмы и сопки, наполовину поросшие чахлыми карельскими березками и кустарником, и лишь за летным полем, там, где сейчас, скованная льдом, до поры до времени дремала река, маячили высокие стройные сосны да тройка тополей-великанов. Вот, гася в небе звезды, из-за дальней кособокой сопки показалась горбушка зари. Она робко и несмело позолотила верхушки деревьев, заиграла на стеклах окон в землянках, кинула щедрую россыпь багрянца на бесконечные снега.

Анохин, не переставая любоваться игрой ее красок, принялся торопливо утаптывать вокруг себя снег. Светлые густые волосы его небрежно спадали на крутой, упрямый лоб и озорные, еще совсем мальчишечьи глаза. Атлетическая грудь (он был голый до пояса), крепкие, мускулистые руки, бронзовое, сохранившее загар тело выдавали в нем хорошо натренированного спортсмена.

Сделав себе нечто вроде площадки, Анохин выбросил одну руку вперед, за ней, чуть быстрее, другую. Повторяя, он ускорял темп. Это был «бокс», его любимое упражнение, входившее в комплекс ежедневной утренней зарядки. Заядлый спортсмен, страстный поклонник ринга, Анохин скоро вошел в азарт и через минуту уже так неистово молотил руками воздух, словно перед ним был опасный и сильный противник. Вот он, отражая мнимую атаку, быстро отскочил в сторону, мгновенье — и с новой силой ринулся вперед, градом ударов осыпая воображаемого врага. Глаза его разгорелись, лицо стало красным, от спины и шеи уже валил пар, а он, казалось, позабыв обо всем на свете, продолжал атаковать кого-то.

Вдруг большой, плотный ком снега ударил ему в спину. Анохин с недоумением обернулся назад.

— Чемпиону карельских лесов! — услышал он в тот же миг чей-то насмешливый голос.

— А-а! Так это ты!

Алексей узнал начальника метеорологической станции, немолодого, добродушного и веселого старшего лейтенанта Бахметьева. Уважая Анохина и хорошо зная его страсть к боксу, Бахметьев, слывший остряком, не упускал случая подшутить над ним. Так было и сейчас.

Но летчик, сорвавшись с места, сам бросился к нему. Стараясь увернуться, метеоролог отскочил в сторону, но не рассчитал. Неуклюже взмахнув руками, он по-смешному плюхнулся в сугроб. И не успел опомниться, как на нем уже верхом сидел Анохин.

— Так, так, хорошо! — не давая ему подняться, хохотал летчик.— Это вместо физзарядки тебе. Размять косточки-то надо. Полезно-о-о! — и его громкий, раскатистый смех далеко раздавался вокруг, будя все еще дремавшие окрестности.

— Отстань! Пусти, дьявол! — беззлобно ругался Бахметьев.

— Моли погодку — отпущу! — подтрунивал над ним Анохин.— Даешь «летную», а не то...— и он еще сильнее вдавил его в сугроб.

— Даю, даю. «Летную» даю,— поспешно согласился тот, словно погода и впрямь зависела от него.

— Ну, то-то...

— Вот, дьявол, задушил прямо,— отфыркиваясь от набившегося в рот и нос снега, продолжал незлобиво ворчать «метеобог», как в шутку называли на аэродроме Бахметьева.— А силища-то, сила...— и вдруг притворно строго набросился на Анохина.— Иди, боксер, собирайся, на самом деле летная сегодня.

— Правда? — обрадовался тот.— Значит, летим? Ну-ну, бегу, Павлуша, тороплюсь! — И он, хлопнув его по плечу, вприпрыжку побежал в землянку.

В дверях он чуть не сшиб с ног своего воздушного стрелка, сержанта Казакова. Тот, без рубахи, с полотенцем через плечо, выходил умываться.

— Собирайся, Сашок, летим сегодня! — радостно крикнул он ему.— Не мешкай! — и скрылся за дверью.

Казаков укоризненно покачал головой, потирая ушибленное место. Был он невысокого роста, черноват,

с узким, почти девичьим лицом, на котором от шеи до подбородка багровел шрам.

«Ишь, как его распалило»,— подумал он про своего командира и улыбнулся.

По прибытии на фронт, в полк, Александр Казаков в первый же день был зачислен в экипаж лейтенанта Анохина. Вскоре они стали друзьями и с тех пор не расставались. Анохин, по натуре кипучий и деятельный, полюбил своего стрелка за спокойный, хладнокровный характер. Упорный и трудолюбивый, Казаков с одинаковым усердием принимался за всякое порученное ему дело — будь то боевой вылет, дежурство или наряд на кухню. Скромный, страшно робевший перед девушками, он был, однако, одним из храбрейших воздушных стрелков в эскадрилье. «Теленок на земле — тигр в воздухе»,— в шутку говорили о нем. Отчасти это была правда. Казаков имел на своем счету уже четыре сбитых фашистских самолета.

Наскоро умывшись снегом, он вернулся в землянку. Анохин был уже одет. Сыпя остроты и прибаутки, он безжалостно стаскивал с постелей любителей протянуть лишнюю минутку под одеялом.

— Пора, красавица, проснись!
Открой сомкнуты негой взоры...—

кричал он на ухо то одному, то другому и добавлял:— Летим, товарищи, летим.

Анохин всегда с нетерпением ожидал летной погоды, которая, по правде говоря, была редким гостем в Заполярье. Зимой при частых северных вьюгах бывали недели, когда полк не делал ни одного боевого вылета. В такие дни беспокойный летчик часто забегал на метеостанцию к Бахметьеву и, если тот не обещал «порядочной» погоды, понурив голову, опечаленный, возвращался к себе в землянку.

Но когда тучи рассеивались, небо прояснялось, он, позабыв о несправедливостях и каверзах природы, получив задание, снова веселый и радостный, спешил на аэродром, к самолету.

Так было и на этот раз. Быстро позавтракав, причем не позабыв попросить добавочной порции жареных макарон, до которых он был большой охотник, Анохин

в составе эскадрильи поднялся в воздух и, сделав круг над аэродромом, взял курс на запад.

II

Штурмовка была ожесточенной. «Обрабатывая» крупную железнодорожную станцию, эскадрилья делала уже шестой заход. Взрывы бомб сотрясали воздух. Фонтаны перемешанного с землей снега вихрем взметывались в небо и медленно оседали на землю. Горели вагоны, паровоз, склады. Рвались цистерны, облака горящей нефти окутывали станцию. Густой черный дым расползался вокруг. Где-то растерянно и беспорядочно тявкали немецкие зенитки.

А штурмовики, быстро перестраиваясь, снова и снова заходили для атаки.

Но вот командир, выйдя из боя, качнул крыльями и повернул обратно. За ним, словно гусиная стая, потянулась вся эскадрилья.

Анохин, выпустив последний заряд из пушек и отметив, что на путях вспыхнули цистерны, круто взял вверх. Эскадрилья была уже далеко. Он прибавил газ. Мотор взревел, и стрелка указателя скорости неудержимо поползла по шкале вправо.

Вдруг огненная трасса откуда-то сбоку ударила в самолет. И словно в ответ ей отчаянно застрочил пулемет стрелка.

«Мессера!» — мелькнуло в голове летчика.

— Фашисты! — тотчас же подтвердил и Казаков, не отрывая пальцев от спускового крючка пулемета.

Анохин глянул вправо. Наперерез шла пара «мессершмиттов». Коричневая окраска, острые носы, будто обрубленные концы крыльев, на которых были жирно намалеваны кресты со свастикой, делали их похожими на каких-то воздушных хищников. Не будь их, каким бы светлым, тихим и ласковым казалось это безоблачное голубое небо.

Вот первый из «мессершмиттов» сделал «горку»[1] и снова послал в штурмовика длинную пулеметную очередь. Но, крепко сжимая штурвал, Анохин в то же мгно-

[1] Сделать «горку» — резко набрать высоту с последующим выравниванием самолета.

венье резко бросил самолет вниз, вправо. Трасса осталась позади. Тогда враги повисли сверху и, ошалело шарахаясь из стороны в сторону, чтобы не угодить под выстрелы Казакова, вдруг снова ринулись в атаку.

Клубы ржавого огня охватили правое крыло самолета. Анохин круто скользнул влево, стараясь сбить пламя, но оно упорно цеплялось за сталь крыла и жадно лизало его. Вскоре пляшущие огненные языки с крыла поползли к кабине.

— Прыгай! — крикнул тогда он стрелку.

В тот же момент огонь перебросился на мотор. В кабине стало душно. Небольшие струйки коричневого дыма постепенно наполняли ее. Запахло горелой шерстью: это затлели на ногах унты. Внезапно сдал мотор. Штурмовик, заваливая вправо, посыпался на хвост [1]. Анохин быстро отстегнул привязные ремни, откинул колпак и осмотрелся. Казакова в кабине уже не было. Тогда он приподнялся на руках и, с силой оттолкнувшись от сиденья, выбросился из самолета. Помедлив, дернул за кольцо.

Толчок.

Над ним, словно огромный белый гриб, неслышно плескался шелковый купол парашюта. В ясном небе нестерпимо сверкало зимнее солнце. Анохин зажмурил глаза. Через секунду открыл снова, поглядел вниз. Первое, что он увидел, был его собственный унт. Раскачиваясь, унт еле держался на ноге, свисая, грозя вот-вот сорваться.

«Хорошо еще, что совсем не слетел»,— с облегчением подумал он и, быстро дотянувшись до унта, закрепил его на ноге.

И невольно снова перевел взгляд на землю. Там, на темно-синем фоне леса, белели небольшие озерки и болота, замысловато петляли, точно хороня свои следы, замерзшие ручейки и речки. Их было много, и поэтому с высоты казалось, что землю кто-то специально исполосовал тупым ножом вкривь и вкось. Линия фронта проходила южнее этих озер и речек, и она скорее угадывалась, чем виднелась: далекий горизонт плотно закрывала синеватая снежная мгла.

---

[1] Посыпаться на хвост — падать хвостом вниз.

Вдруг чуткий слух Анохина уловил отдаленный, вместе с тем нарастающий гул моторов, который быстро приближался. Несомненно — в воздухе были самолеты. Но чьи?.. Свои или чужие?.. Летчик повернул голову — и холодок ручейком пробежал по его спине.

Прямо на него шел «мессершмитт». Блеснув на солнце черными крестами, он устремился вниз.

Анохин знал, что гитлеровцы безжалостно расстреливают выбросившихся на парашютах летчиков, крылами самолетов обрезают стропы, поджигают сухие, как порох, куполы. Такая же участь ждала и его.

«Ну нет, подлюги! — он выхватил пистолет.— Уж лучше сам».

Но что же это?.. «Мессершмитт», приблизившись почти на выстрел, вдруг круто, боевым разворотом отвалил в сторону. В тот же момент он вспыхнул факелом и, неуклюже переваливших с крыла на крыло, камнем рухнул вниз, оставляя за собой густой след черного дыма.

«Что за чертовщина? Уж не мерещится ли?» — едва успел подумать Анохин и только сейчас заметил четверку наших «яков», которая внезапно появилась в то роковое мгновенье и сбила фашиста.

— Спасен!..

III

Анохин приземлился на небольшой прямоугольной поляне, окруженной низкими карельскими березками и корявым кустарником. Отстегнув подвесную систему, он быстро закопал парашют в снег. Затем, опасливо озираясь по сторонам, торопливо вбежал в лес.

Где Казаков? Что с ним?

Станция, которую штурмовала эскадрилья, была в десяти — двенадцати километрах отсюда. Казаков, выпрыгнувший из самолета первым, должен быть где-то здесь, недалеко, самое большее в полутора — двух километрах, если, конечно, не попал в лапы к гитлеровцам.

Чтобы найти его, придется идти обратно, дальше в тыл противника, когда дорога каждая минута, дорог каждый пройденный шаг. Но Анохин об этом и не думал. То, что Казаков, быть может, попал в беду, нуж-

дается в помощи, в поддержке, больше всего волновало его, и он, не раздумывая, повернул обратно. Да и как могло быть иначе? Ведь не мог же он бросить товарища.

— Только бы найти его, не разойтись,— твердил он упрямо.

Анохин запомнил, что Казаков выпрыгнул из самолета возле небольшого круглого озерка. Ветра почти не было и отнести в сторону стрелка не могло. Отыскать это озерко было не так трудно, хотя глубокий и рыхлый снег, в который Анохин то и дело проваливался, не давал идти быстро. А нужно было спешить: зимний день короток, темнота наступает быстро.

Шагая вперед, левой рукой он раздвигал ветки деревьев и кустарника, правая, сжимавшая рукоятку пистолета, была в кармане. Избегая полян и перелесков, он осторожно оглядывался, прислушиваясь к малейшему шороху. Крутые овраги и лощины обходил стороной. Иногда, по пояс увязая в снегу, он падал, снова вставал, с трудом выбирался из ям и воронок, которые встречались почти на каждом шагу.

Когда-то здесь была линия фронта. Об этом говорил вытянувшийся длинной грядой черный горелый лес, многочисленные надолбы и рогатки, разрушенные и обвалившиеся траншеи. Толстый слой снега покрывал эту обезображенную войной землю.

Внимательно оглядываясь по сторонам, Анохин вдруг заметил какое-то серое пятно, слабо выделявшееся на снегу.

«Что бы это могло быть?» — подумал он и взвел курок пистолета.

Подойдя ближе, он чуть не вскрикнул от радости.

— Ведь это парашют Казакова.

Действительно, это был парашют. Но то, что затем увидел Анохин, заставило его побледнеть. Рядом с парашютом валялись окровавленные куски шелка, обрывки строп, оберточная бумага санпакета, разбитые летные очки. Снег был примят и утоптан.

— Та-ак,— внутренне похолодев, медленно проговорил летчик и вдруг, словно подстегнутый кем-то, позабыв о всякой осторожности, бросился туда, куда уходили еще совсем свежие следы Казакова. А следы говорили о многом, и это многое болью отдавалось в сердце пилота.

Вот здесь Казаков упал, здесь поправлял повязку, смачивая рану снегом, и неверными мелкими шагами шел дальше. Здесь снова упал. Хватаясь за молодую березку и оставив на ее нежно-белой коре отпечатки испачканных кровью пальцев, поднялся и снова побрел дальше. Наконец следы превратились в сплошную, бесформенную полосу. Несомненно, Казаков полз. Силы, видимо, оставляли его.

Анохин, не замечая хлеставших по лицу веток, цепляясь за пни, натыкаясь на поваленные бурей деревья, торопливо бежал дальше. Он не заметил, как очутился перед оврагом и, не удержавшись, скатился туда вниз головой. Анохин быстро встал и отряхнулся.

— Казаков! — вдруг вырвалось у него.

В двух шагах лежал Казаков.

— Саша! Дорогой! Жив?!

Он бросился к стрелку и крепко обнял его. Тот застонал.

— Что, больно? — спохватился Анохин и только сейчас заметил, что Казаков был белее снега, еле дышал.

Вместо шлема на его голове была торопливо накрученная шелковая повязка — тряпка, отполосованная от парашюта, сквозь которую пятнами просачивалась кровь. Подшлемник, когда-то белый, теперь был красным. Черные сгустки запекшейся крови покрывали шею и подбородок. Из пробитого во многих местах комбинезона кусками торчал рыжеватый мех.

— Саша! — взволнованно заговорил Анохин.— Сашок, дорогой! — и, еле сдерживая ярость, вдруг проговорил сквозь зубы:— Да что же это они с тобой сделали! Вот гады... Ну, погодите ж! — и яростно потряс кулаками.

— Алеша! — пробуя улыбнуться, тихо позвал его Казаков.

Анохин наклонился над ним.

— Алеша,— чуть слышно повторил тот.— Ведь первого «мессершмитта» я сбил... потом прыгнул... и вдруг... у самой земли...

Он не договорил и закрыл глаза.

Но и так все было ясно. Анохин с грустью посмотрел на товарища. Затем осторожно, боясь причинить боль, принялся смывать снегом с его лица кровь. Снег быстро таял и небольшими грязно-розовыми струйками стекал

по щекам к шее, попадая в рот, в нос и за воротник. Казаков открыл глаза и слабо улыбнулся.

— Алеша!

Анохин ласково кивнул в ответ.

— У меня в кармане шоколад. Две плитки. Возьми... Пригодится...

Анохин вздрогнул.

— Возьми, в-озьми,— негромко, но настойчиво повторил тот.

— Э-э, Сашок. Да ты, никак, о смерти думаешь?! — боясь взглянуть в глаза Казакову и еле сдерживая навернувшиеся слезы, попробовал отшутиться летчик.— Брось, Сашок. Пустая затея. Вот как махнем с тобой через линию фронта, так еще и плясать запросишься. А ты?.. Эх, ты! — И он протянул к нему руку, чтобы поправить на голове повязку, но тотчас же в ужасе отшатнулся.

Казаков был мертв.

— Саш-ша-а-а! — бросился к нему Анохин и, не владея собой, зарыдал, как ребенок.

Внезапно подул холодный порывистый ветер. Тяжелые тучи заволокли небо. Пошел крупный, хлопьями, снег. Откуда-то издалека донеслась сухая трескотня пулеметной очереди. Где-то гулко ухнуло орудие. Жалобно застонал лес. Потемнело. Надвигалась долгая северная ночь.

IV

Два дня блуждал Анохин в глухом, неприветливом лесу, две ночи подряд он пытался перейти линию фронта, но все безуспешно. В первую ночь он наткнулся на сторожевое охранение немцев. Часовые открыли стрельбу, поднялась суматоха, но темень и снег, сыпавший крупой, помогли ему скрыться.

В другой раз, когда он, забравшись подальше в лес, отдыхал после долгих ночных блужданий, внезапно появились гитлеровцы. Надеясь взять его живьем, они осторожно подкрадывались к летчику. Вдруг первый из них, зацепившись за пень, ткнулся в снег; винтовка выпала из его рук, стукнулась о дерево. Анохин обернулся на звук, увидел немцев и метнулся в сторону. В тот же момент длинная автоматная очередь прорезала тишину.

мимо. Анохин, выхватив пистолет, выстрелил в ближнего. Худой длинный солдат, словно подкошенный, упал. Второй, спрятавшись за деревьями, продолжал стрелять наугад, видимо, зовя на помощь. Анохин, не спуская с него глаз, незаметно отполз в сторону, быстро вскочил на ноги и пустился бежать. Преследовать его немец не решился.

Днем, когда солнце стояло уже высоко, измученный, усталый, уткнувшись лицом в воротник, Анохин дремал под корявой ветвистой сосной неподалеку от крутого, обрывистого берега реки.

В лесу было тихо. Где-то рядом постукивал дятел. Стрекоча без умолку, вокруг кружились сороки. Вот одна из них опустилась на дерево и уставилась на летчика. Тот не замечал ее. Сороку, казалось, это обидело — она перескочила на ветку ниже. С верхушки потревоженного дерева посыпались комья снега.

Анохин вздрогнул и открыл глаза.

«Жилье где-то близко,— вяло подумал он и вдруг насторожился.— Что это? Неужели?..» И сорвал с головы шлемофон.

Из-за реки доносился протяжный гул моторов. Наверняка там был аэродром. Анохин поспешно вытащил из кармана полетную карту. Планшет, мешавший ему, он бросил в первый же день. Нетерпеливо отыскал нужный лист.

— Ага, вот.

Карту пересекала голубая извилистая нить реки и там, где она круто забирала на север, стоял знак «Т».

Так ведь это аэродром Буян-озеро.

Анохин удивился, как он раньше не догадался об этом, хотя прекрасно знал о существовании этого полевого аэродрома немцев.

Аэродром! Одно это слово привело летчика в трепет, заставило тревожно и в то же время радостно забиться сердце.

«Аэродром! — полузакрыв глаза, шепотом проговорил он.— А что если...» — вдруг мелькнула в его голове мысль. Сначала робкая и неопределенная, она постепенно завладела им целиком. Пытливый ум его лихорадочно заработал, одна за одной перед глазами замелькали воображаемые картины, события.

Вот он в лесу. Усталый и одинокий бредет на восток. Казакова нет. Он один. Враги рыскают по следам. Вот и аэродром. Стоят самолеты, яркие лучи солнца серебрят их крылья. Он — в кабине. Пронзительно гудит мотор. Вот полк. Ребята. Командир. И снова лес, угрюмый, темный лес. И он один, один в этом чужом краю. Нет, не один... Там, за линией фронта, таких тысячи. Его ждут. Он нужен. И он придет. Вернется.

«Но как? Рискнуть? Попробовать? Хотя нет, не выйдет. Трудно, очень трудно. Даже невозможно. Летом — еще туда-сюда. А сейчас нет. Только зря время потеряю».

И летчик устало опустился на снег.

Прошла минута, другая. Из-за реки по-прежнему, то замирая, то вновь нарастая, доносился протяжный гул моторов, бередя, терзая и без того смятенную душу.

Вдруг, будто стряхнув с себя нерешительность, Анохин порывисто встал, даже пистолет из кармана вынул, хотя сейчас он ему был вовсе не нужен. Пистолет тускло блеснул вороненой сталью, холодком обжег руку.

— Да что я раскис, как баба,— с наслаждением ругнул он себя.— Рисковать, так рисковать.

Глаза его вспыхнули, тонкие брови, изогнувшись, сбежались у переносицы — не разнять.

— Пойду. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. А вообще-то еще посмотрим, кто кого,— хмуро улыбнулся Анохин и, поспешно нахлобучив шлемофон, решительно зашагал туда, откуда все слышней и слышней доносились сильные и властные, как призыв, звуки.

V

Фашистский аэродром был расположен на берегу небольшой карельской реки. Одним концом он выходил на ее обрывистый, поросший лесом берег, другим — южным — упирался в ряд сопок, казалось, слившихся друг с другом. Густой темный лес да чахлый кустарник плотной стеной окружали его со всех сторон. Землянки, занесенные снегом, ютились на южной окраине; там же находились столовая, гараж, мастерские. В центре их размещался штаб, возле которого стояла автомашина, два трактора и прицеп. В стороне, за широкой канавой,

несколько землянок было ограждено колючей проволокой. Это были склады с боеприпасами. Двое часовых лениво бродили вокруг них.

Кое-где длинные железные трубы коптили небо, темно-бурый едкий дым лениво полз вверх и медленно таял в высоте. По дороге, ведущей на аэродром, одна за другой плелись подводы. Они с трудом переваливались через огромные сугробы, подолгу застревая в них. Кричали ездовые, свирепо нахлестывая лошадей. Тут же, свалившись набок, торчала застрявшая в снегу автомашина. Напротив, за метеостанцией, темнела свалка разбитых и полусгоревших самолетов. На их фюзеляжах и плоскостях, вперемежку с фашистскими крестами, чернели пробоины. На торчавшем из сугроба обрубленном хвосте «мессершмитта» сидела старая ворона. Она беспокойно оглядывала это «авиационное кладбище» и, видимо, не найдя, чем поживиться, вдруг громко каркнула, шумно взмахнула крыльями и улетела прочь.

В полукилометре, на склоне крайней сопки, виднелось небольшое село. Более половины его домов сгорело, и лишь черные, обуглившиеся остовы крупных кирпичных строений да уныло глядевшие в небо высокие трубы говорили, что здесь когда-то, до войны, было крупное колхозное хозяйство. Теперь в уцелевших домах располагались гитлеровцы, жители были выселены в соседнюю деревушку.

Вокруг летного поля, впритык к лесу, на расстоянии ста — ста пятидесяти метров друг от друга, стояли «мессершмитты», одномоторные «юнкерсы»-«лаптежники», как называли их наши летчики за неубирающиеся шасси, несколько «фокке-вульфов» и два «хейнкеля». Возле них суетились техники и мотористы. Они грели моторы, заливали в баки горючее, заряжали пулеметы и пушки. По аэродрому, взметая снег, сновали машины, слышался рев запускаемых моторов. Самолеты, словно огромные черные жуки, выползали из капониров, спешили на старт и, высоко задрав хвосты, уходили в небо.

Анохин, пробравшись на аэродром со стороны реки, где не было ограждения из колючей проволоки, скрываемый деревьями и кустарником, незаметно подполз к крайнему капониру и, затаив дыхание, принялся жадно следить за всем, что происходило на аэродроме. Место было как нельзя более подходящее. Отсюда, не опа-

саясь, что его могут заметить, он видел как на ладони все летное поле с его стоянками и службами. Теплый меховой комбинезон и собачьи унты надежно защищали летчика от холода, и он, не сомневаясь в благополучном исходе задуманного, стал терпеливо ждать удобного случая. Правда, нестерпимый голод, этот страшный враг, которого больше всего боялся Анохин, давал о себе знать. Но съесть оставшуюся плитку шоколада он не решался.

Самолетов на аэродроме осталось мало: почти все были в воздухе. Возле нескольких из оставшихся копошились механики, видимо, устраняли неисправности и повреждения, полученные накануне. На опустевших стоянках в грязно-зеленых шинелях неторопливо расхаживали часовые. Обслуживающий персонал, едва проводив машины в воздух, бежал отогреваться в шалаши и землянки.

Вскоре над аэродромом появилась группа «юнкерсов». Их сопровождала пятерка «мессершмиттов». Не делая обычной «коробочки» — полета по кругу — трое из них с ходу пошли на посадку. У одного «мессершмитта» не выпускалось шасси, выйдя из гнезд, оно застряло на половине. Анохин догадался: видимо, фашистов здорово потрепали в воздухе. Притом истребители, всегда летающие или в паре, или группой, но обязательно четным числом, явно недосчитывали одного, если не трех. Их было только пять.

«Досталось, верно, на орехи»,— подумал Анохин.

Тем временем «мессершмитт» с неисправным шасси низко прошел над аэродромом и, клюнув вниз носом, ударился о землю, потом подпрыгнул вверх и, потеряв скорость, свалился на крыло. К разбитой машине подбежали техники и мотористы. Через некоторое время туда подошел трактор и, прицепив самолет, потащил его к черневшему на той стороне аэродрома «авиационному кладбищу».

— Туда и дорога,— сквозь зубы процедил Анохин.— Одним шакалом меньше.

Остальные машины, заполняя воздух прерывистым ревом моторов, оставляя за собой целые облака снега, расползались по стоянкам.

Капониров на аэродроме было больше, чем самолетов, часть из них пустовала, и техники, с тревогой погля-

дывая на небо, напрасно ожидали возвращения машин. В этот день, видимо, многим из них не суждено было вернуться. Где-то там, на востоке, за линией фронта они бесславно догорали черными кострами.

Один «мессершмитт», севший последним, подрулил к капониру, возле которого притаился Анохин. Из кабины вылез тучный, с бледным одутловатым лицом летчик. Он наскоро отстегнул парашют и, что-то сказав подбежавшим техникам, зашагал на другой конец аэродрома, где находился штаб. Тем временем техники, проклиная погоду, то и дело оттирая побелевшие от мороза носы и щеки, принялись закатывать самолет в капонир. Старший, в погонах фельдфебеля, поторапливал их.

«Значит, летать сегодня больше не будут»,— догадался Анохин.

— Да-а,— уныло протянул он, выплюнув изо рта горькую сосновую кору, которой он тщетно пытался заглушить терзавший его голод. Для него стало ясно, что день был потерян. Он пришел сюда слишком поздно.— Ну что ж, утро вечера мудренее,— успокоил он себя.— Подожду до завтра.— И, продолжая следить за аэродромом и стоянками, он обдумывал, запоминал все, что могло пригодиться.

От его внимательного взгляда не ускользнуло и то, что охрана часто без всякого присмотра оставляла машины, уходила к соседним самолетам или просто погреться в землянку.

Наконец стоянка опустела.

Летчики и техники, сделав послеполетный осмотр и подготовив самолеты к очередным вылетам, разошлись по землянкам. Остались одни часовые.

Анохин еще раз внимательно осмотрелся вокруг и, с трудом разминая затекшие от долгого лежания на снегу ноги, побрел в сторону от аэродрома. Начало смеркаться. На небе появились первые звезды.

Сделав большой крюк, летчик забрался в самую гущу леса. Он устало опустился на сваленную кривую сосну. С того берега сквозь шум деревьев и посвистывание ветра доносились глухие раскаты артиллерийской канонады. Стреляли дальнобойные орудия. Анохин, полузакрыв глаза, нехотя прислушивался к этим тревож-

ным раскатам. Мысли его беспорядочно путались в голове.

...Прошло долгих два дня. Сколько исхожено дорог, истоптано снега, а он все еще здесь, в этом проклятом лесу, один, далеко от своих. Правда, в кармане оставалась еще целая плитка шоколада, но надолго ли хватит ее. А потеря сил — конец. Постепенно уверенность Анохина исчезла, она сменилась минутами сомнения, удручающего раздумья. В то утро, когда у него впервые возникла мысль захватить немецкий самолет, она казалась вполне осуществимой. Придя же на аэродром, он убедился, что сделать это будет гораздо труднее. Допустим, ему удастся «снять» охрану, часовых, захватить самолет. А дальше? Как запустить на морозе холодный мотор? Ведь это трудно, почти невозможно. Нет. Значит, нужно что-то другое.

Но что именно?

И вот над этим вопросом, терзаемый сомнениями и голодом, Анохин упорно ломал голову третью — по счету — ночь.

VI

В полку Анохина не ждали. Из летчиков, вернувшихся со штурмовки, никто не мог объяснить толком, при каких обстоятельствах его сбили. Предполагали, что он и стрелок могли выброситься на парашютах, потому что видели, как самолет дымил. А что было дальше — никто не знал.

— Погибли,— говорили одни.

Но те, кто близко знал Анохина, в это не верили.

— Жив. Не такой Анохин парень, чтоб погибнуть. И друга он в беде не бросит. Придет,— стояли они на своем.

В этот день на аэродроме было необычайно шумно. Накануне из штаба Воздушной Армии пришел приказ — всем полком вылететь на штурмовку. Цель — Буянозеро, тот самый аэродром, возле которого голодный и усталый одиноко бродил Анохин.

На стоянках ревели моторы, сновали автомашины, стартеры, бензозаправщики, от самолета к самолету бегали техники, оружейники, мотористы.

Начинался боевой будничный день.

Толстощекий крепыш Федя Ищенко, механик Анохина, теперь «безлошадный», как называли в таких случаях оставшихся без машин и экипажей, помогал техникам третьей эскадрильи готовить самолеты к боевым вылетам.

Эскадрилья занимала северо-западную окраину аэродрома. В километре от нее, на пригорке, располагались зенитные батареи. Их разделял крутой, глубокий овраг, уходивший к небольшому, похожему на лошадиную голову, озеру. Вдоль оврага тянулся густой темный лес. Слежавшиеся комья снега сдавили его, приплюснули, и от этого он казался печальным, угрюмым, и только там, где лесная полоса огибала стоянку, красовались, словно родные братья, высокие стройные тополи-великаны. Под их густыми заснеженными ветвями в удобном капонире стоял самолет командира эскадрильи, вправо и влево от него, по опушке леса, по звеньям — остальные.

Яркие лучи восходящего солнца серебрили огромные крылья «ильюшиных», этих «летающих танков», играли на стеклах приборов, колпаков кабин, заливали ослепительным блеском холмы и сопки. Грозно и неподвижно глядели стволы пулеметов и пушек, от прогретых моторов шел пар, пахло бензином. Возле землянки оружейников, куда обычно собирались на перекур, мотористы загружали автомашину бомбами и боеприпасами. Они оживленно переговаривались между собой, шутили. Летчики и воздушные стрелки, уже получив задание и ожидая сигнала к вылету, находились тут же, у самолетов. Они помогали техникам подвешивать бомбы, проверять вооружение, приборы, оборудование.

Глядя на них, на этих расторопных, задорных ребят, на эти по-деловому возбужденные лица, как-то не верилось, что вот сейчас, всего через несколько минут, они уйдут туда, за линию фронта, на запад, навстречу опасности и смерти. И кто знает, скольким из них не суждено будет вернуться обратно. Но вряд ли кто-нибудь в эту минуту думал так. Говор и шутки не смолкали по-прежнему.

Один лишь Ищенко был угрюм и невесел.

«Вот бы Анохина сюда»,— размышлял он, не обращая внимания на чей-то забавный рассказ, то и дело прерываемый дружными взрывами хохота.

— И где-то он теперь? Неужели погиб? Э-эх, пропал парень...

Ищенко и не заметил, что последние слова произнес вслух.

— Ты чего это вздыхаешь? — повернулся к нему техник звена Ваня Афанасьев.

Высокий, сутулый, в коротком полушубке и валенках, он казался вдвое выше Ищенко. Вот он степенно обтер со лба пот, отставил в сторону ящик с инструментом и, покачиваясь из стороны в сторону, подошел к приятелю.

— Ты чего это? А? Да еще перед вылетом,— с укоризной заметил он Ищенко и покачал головой.

— Да так,— отмахнулся тот и, помолчав, добавил с грустью.— Командир-то, говорю, погиб, наверно...

— Не вернулся — это не значит, что погиб,— солидно возразил ему Афанасьев.— Почему ты думаешь, что он не вернется? Вон в тридцать пятом полку Алексей Печников на шестые сутки вышел. А тут три дня — ерунда.

— Нет, нет, не говори, Ваня,— не унимался Ищенко, а сам пытливо поглядывал на него своими раскосыми глазами.

— Точно тебе говорю,— убежденно продолжал Афанасьев.— Таких случаев у нас немало. Вот, взять к примеру Софронова, Иванцова, да всех и не упомнишь. А Анохин ведь любому из них сто очков вперед даст.

— Это-то верно, да вот только...

Ищенко и сам не верил в гибель Анохина, но он нарочно вызвал приятеля на такой разговор. Ему нравилось, когда возражали.

«Значит, не я один так думаю. Не я один!..»

Но стоило лишь кому-нибудь согласиться, что его летчик и стрелок погибли, как Ищенко резко обрывал не в меру сочувствующего.

— Погибли! А ты откуда знаешь? Пророк нашелся! Вернутся они! Живы!

Вот и сейчас ему было приятно, что Афанасьев спорил с ним, и он мало-помалу успокоился.

В это время к самолету подошел командир эскадрильи.

— Ну как, товарищи, готовы? — обратился он к техникам.— Через десять минут вылет.

— Все в порядке, товарищ майор! — ответил Афанасьев.— Не задержим.

— А помнишь, Ваня,— вдруг снова заговорил Ищенко про Анохина.— Помнишь, когда он под Новый год с задания вернулся?

Афанасьев кивнул головой.

— Так вот, поверишь ли, живого места не было на самолете. Подвинти. Еще немного. Вот так. Хорош... Пробоин пятьдесят,— продолжал Ищенко.— Приборы — вдребезги, фонарь — разбит, стабилизатор — как решето. «Где же это — говорю я ему,—вас так угораздило?»— «В небушке, Федя, в небушке,— отвечает он и смеется.— Тесновато,— говорит,— в воздухе было, вот и пришлось схватиться с фашистом».— «А как же,— говорю,— вы летели на такой машине? Ведь это не самолет теперь, а одни дыры какие-то, телега. Теперь ведь ему только один путь — на свалку или в музей».— «Что ты,— говорит,— Федя? Зачем в музей? Матчасть работала исправно. Так и в формуляре запиши. Правда, кренит, заваливает слегка вправо, а так ничего, хорошо». Вот и поговори с ним после этого. А молодец! Отчаянный парень! — не без гордости закончил Ищенко.

— Что и говорить,— поддержал его Афанасьев.— Таких немного!

Вдруг в это время, едва не резанув винтом по верхушкам деревьев, над аэродромом внезапно появился самолет. На его распластанных коротких крыльях зловеще чернели кресты и фашистская свастика. Мощный, пронзительный рев мотора, казалось, хотел расколоть небо надвое.

— «Мессер»! — крикнули где-то рядом.

Бух! Бух-х! Трах, тах! — тотчас же ударили зенитки. А еще через мгновенье с командного пункта взвилась зеленая ракета. И не успела она погаснуть, как дружная пара «яков» рванулась с места и пошла на взлет.

— Быстрей! Быстрей! — провожали их криками на стоянках.— Быстрей, а то уйдет. Вишь, драпать начинает.

Но, к удивлению всех находившихся на аэродроме, «мессершмитт» и не думал удирать. Наоборот, сделав хитроумный противозенитный маневр (которому мог бы позавидовать любой летчик), он вдруг, выпустив шасси, смело пошел на посадку.

На аэродроме ахнули от изумления. Действительно, творилось что-то необычное. И словно по команде, техники и мотористы, сержанты и солдаты — все, кто находился поблизости, бросились к самолету. А со стороны штаба и землянок туда же бежали новые и новые группы людей, на ходу щелкая затворами винтовок, спешил стрелковый взвод охраны.

А «мессершмитт» впритирку, как говорят летчики, мягко коснулся аэродрома, пробежал посадочную полосу, лихо развернулся и, как ни в чем не бывало, порулил к стоянке третьей эскадрильи, к тому самому капониру, в котором когда-то стоял штурмовик Анохина. Но капонир был занят. В нем уже по-хозяйски располагался связной «По-2».

«Мессершмитт» затормозил, остановился. Его тотчас же окружили со всех сторон.

— Сдаваться прилетел,— взволнованно говорили одни.

— Не сдаваться, а заблудился,— горячо возражали другие.— Бензина-то в обрез, наверное.

— Сдаваться,— не унимались первые.— Крышка скоро Гитлеру, вот они и перекидываются к нам.

Но каково же было их удивление, когда из кабины показался худой и обросший, озорно улыбающийся летчик и, махнув рукой на безобидно стоявшего в капонире «кукурузника», крикнул на чистом русском языке:

— А ну, братва, выкатывай эту посудину отсюда!

На какое-то мгновение толпа застыла в безмолвном оцепенении.

— Да это Анохин! — вдруг крикнул Ищенко.

— Анохин! Алексей! — прорвалось, грянуло по аэродрому, и не успел летчик опомниться, как десятки сильных и крепких рук подхватили его.

VII

Весть о том, что Анохин вернулся, да еще таким необычайным образом, быстро разнеслась по аэродрому, и вскоре не было ни одного человека, который бы не знал о случившемся. Правда, последовавший за тем боевой вылет полка на время заслонил разговоры об этом, но когда к полудню, изрядно потрепав противника, девятки штурмовиков, не потеряв ни одного экипажа,

одна за другой стали касаться бетонки своего аэродрома, разговоры об Анохине возобновились снова.

А вечером, когда последний самолет был зачехлен и на стоянках остались одни часовые, в землянку летчиков третьей эскадрильи послушать отдохнувшего и отоспавшегося к тому времени Анохина собралось столько народу, что многим негде было присесть.

Анохин, расстегнув от жары почти все пуговицы на гимнастерке (друзья постарались, натопили, как в бане), сидел на потертом футляре из-под баяна и неторопливо вел рассказ. Лицо его было гладко выбрито. Похудевшее, оно, однако, не потеряло своей свежести. Большие, чуть подсиненные ресницами глаза смотрели по-мальчишечьи просто, открыто, и в то же время в них чувствовалась какая-то далекая, затаенная грусть.

Когда он заговорил о Казакове и его гибели, в землянке стало так тихо, что было слышно, как в лампе потрескивал фитиль, заставляя вздрагивать и колыхаться тусклое пламя «пятилинейки».

Тяжелая это была весть. Но ни один мускул не дрогнул на лицах собравшихся. Суровые и неподвижные, затаив дыхание, летчики слушали своего товарища.

Алексей изредка останавливался, чтобы собраться с мыслями.

В печке уже давно прогорели дрова, немилосердно коптила лампа, но на это никто не обращал внимания. Рассказ Анохина глубоко взволновал собравшихся, и уж до печки ли было тут.

Вот у окна сидит лейтенант Николай Котов. Его сосед, Федя Ищенко, пребольно сдавил ему ногу, а он и не шевельнется, глаз с Анохина не спускает, точно занимательную и страшную сказку слушает. Но лейтенант Котов знает, что это не сказка. Не раз побывавший в переплетах и переделках, из которых выходят только смелые и сильные духом, он знал, что такое подвиг, отвага, геройство. Он знал и цену им.

А вот Бахметьев. Всегда веселое, добродушное лицо его задумчиво и серьезно. Из-под широких мохнатых бровей, как угли, горят черные глаза; в них и грусть о погибшем сержанте, в них и гордость за подвиг товарища.

А за окном пронзительно завывает холодный порывистый ветер, глухо шумит лес. Изредка доносятся глухие

раскаты одиночных артиллерийских выстрелов, к ним примешивается сухой треск ломаемых стужей деревьев.

— Последнюю ночь я не спал,— неторопливо продолжал Анохин, изредка останавливаясь, словно припоминая что-то.— Было так холодно, что я не мог заснуть. Перчатки мокрые, в унты снегу набилось — замерз. Попробовал ходить — трудно. Снег — выше колен, еле ноги передвигаешь. Да и силы, думаю, беречь надо. Бросил. Уткнулся лицом в воротник, кажется, теплее стало, и сижу. А надо мной сосны шумят, жалобно так, словно живые.

Сижу, раздумываю: как быть, что делать? В конце концов, из всего вороха мыслей особенно врезалась мне такая: дай, думаю, подожгу мастерскую, которую я еще днем возле стоянки заметил. Охрана бросится тушить, поднимется паника, а я тем временем в самолет — и даешь в свой полк. Кажется, неплохо. Обдумываю, взвешиваю все, чтобы действовать только наверняка. Но вот подумал, поразмыслил... и не то. Ведь охрана могла и не уйти от самолетов: не наше дело, скажут, пусть тушат пожарники. А мне тогда что? Ведь по следам могли найти. Значит, нужно что-то другое.

И тут приходит мне в голову новый вариант. Как же, думаю, я раньше-то о нем не догадался. Вот черт!

Анохин заметно повеселел, тряхнул головой и заговорил быстрее:

— И решил я, братцы, так. Пробираюсь на аэродром. Ночь темная. Незаметно подкрадываюсь к часовому и убиваю его. Быстро переодеваюсь в немецкую форму, для безопасности это, на всякий случай, а часового — в снег, от глаз подальше. Из каптерки (а я днем еще заметил, что замка там нет) достаю лампу и подогреваю мотор. Пламя у нее тусклое, незаметное, да и кто подумает, что вместо часового здесь я, советский летчик, орудую.

Подогрев мотор, расчехляю самолет, колодки из-под колес долой, по газам,— и поминай, как звали. И до того, я, ребята, приободрился, что про мороз забыл. Ну, а раз, думаю, решил, значит, медлить нечего. И сразу же за дело.

Встал — и к аэродрому. Снег, пни, валежник, а я вроде и не замечаю их. Иду, тороплюсь, даже жарко стало.

Пришел еще затемно. Прямо к капониру. Подполз ближе, смотрю: черт возьми, часовой не один. С ним еще кто-то, видимо, приятели с соседнего поста. Курят, гады. Ну, думаю, опять загвоздка. С тремя-то, пожалуй, и не справиться. Да и опасно. Но делать нечего, скриплю зубами, а лежу, жду. Прошло с полчаса, может, и больше, а немцы ни с места. Вскоре и светать стало. Тут и техники пришли, самолеты готовить к вылетам. Часовые, конечно, по землянкам, отогреваться, ну и мой курильщик тоже за ними. А я лежу. За капониром, значит. Холодно, а пошевелиться нельзя. Самолет почти рукой достаю, совсем рядом. Да только меня не видно. Сугробы, лес, кустарник — настоящая маскировка. Лежу, словно в укрытии каком. Да это, собственно, меня и не радовало. Ведь момента-то подходящего все не было. Вместо часовых теперь двое техников у «мессершмитта»: долговязый один такой и с ним ефрейтор, моторист. А тут еще вот-вот летчик подойдет. Опять трое будет.

Что ж, думаю, делать? Ждать? Ждать. Да больше для меня ничего и не оставалось. Авось, думаю, чего-нибудь да и дождусь.

А техники самолет расчехлили, мотор греют. И летчик вскоре пришел, тот самый, которого я вчера видел. Он на приветствие техников даже не ответил, а так, буркнул что-то себе под нос и — прямо к лампе, руки греть.

На соседних стоянках уже моторы запустили, шум, рев кругом. Смотрю, и мой технарь в кабину полез, мотор опробовать. Закрутилась «палка» [1], у меня даже под ложечкой засосало.

Слышу — хорошо работает, чисто, без перебоев.

«Ну, Алексей! — говорю себе.— Готовься».

Техник вылез из кабины и — к летчику. А мотор работающим оставил, на малых оборотах. Летчик парашют надел и хотел уже в самолет садиться, да, видимо, вспомнил о чем-то. А я с него глаз не спускаю. Смотрю, он торопливо достал из планшета какой-то пакет и подозвал ефрейтора. Тот козырнул и что есть духу пустился через аэродром — в штаб, наверно.

Ну, думаю, наконец-то!.. Лучше не будет. Самолет в

---

[1] «Палка» — воздушный винт.

готовности и гитлеровцев только двое. Самый подходящий момент.

Ну, Алексей!.. Д-давай!

Поднялся я и — к немцам. Иду, напористо иду. Они не видят. Что ж, думаю, тем лучше.

А у самого в душе такое творится, что и не выскажешь.

Сколько раз на штурмовку ходил, с «мессерами» дрался, а того не испытывал. Ведь враги-то передо мной не за броней самолета, а с глазу на глаз, лицом к лицу. Эх!.. И закипело во мне. Вспомнил о Казакове — словно сил прибавилось. Ну, думаю, сейчас расквитаюсь.

Вдруг летчик в мою сторону поглядел. Мой необычный вид (рваный комбинезон, подгоревшие унты) удивил его.

— Вер зинд зи? [1] — настороженно спросил он.

— Разве не видишь? — подойдя вплотную, спокойно, но твердо сказал я.— Советский летчик.

Ужас исказил лицо фашиста. Мне запомнились его глаза. Круглые, навыкате, они впились в пуговицу на моем комбинезоне. Там, на пуговице, он увидел звезду, нашу обычную пятиконечную звезду и, конечно, сразу же поверил, что я действительно тот, за кого себя выдаю.

— О-о! Русс! — вскрикнул он тогда с каким-то необычайным злорадством и рванулся к парабеллуму. Но его рука еще и до кобуры не дошла, как я выстрелил ему в грудь. Он замертво рухнул в снег. Второй же немец (он в это время возле стабилизатора возился), как услышал выстрел, метнулся к нам. Видать, не сразу сообразил, что случилось. На стоянке ведь шумно. А потом, как разобрался,— на меня. Чего-то в руку схватил. Струбцинку, кажется. Да только ничего не вышло. Не успел он замахнуться, как я быстро отскочил в сторону и дал ему подножку. Он упал. Да так, что на животе чуть ли не полстоянки проехал. Я его тут же рукояткой по затылку. Он взвыл от боли. Я еще разок, и он затих.

Ну, теперь, думаю, все! В самолет...

Сильным пинком я вышиб из-под колес «мессершмитта» тормозные колодки — и в кабину.

Анохин оживился, озорно блеснул глазами. Голос его прерывался.

---

[1] Кто вы? (нем.).

— Вскочил в кабину, мать честная! Аж дух захватило. И верю, и не верю. В самолете ведь! Снова в самолете. Готов от радости заплакать. Схватился за штурвал: руки дрожат, в висках стучит, в горле пересохло.

— Ничего! Ничего! — говорю себе и даю газ. Как зверь, мой «мессер» вырвался из капонира.

Впереди аэродром, взлетная полоса — как на ладони. Вдруг где-то со стороны штаба одна за другой взлетели красные ракеты. Глянул вправо — немцы бегут, слева — автомашина наперерез мчится. Тревога!..

Ну, нет! Теперь нас голыми руками не возьмешь! И, как говорится, «газ по защелку, опережение до ушей». Мой «мессер» вздрогнул и, как стрела, послушно ринулся вперед. И замелькало все: кусты, деревья, люди, землянки...

Что, взяли, гады? Э-э-х!.. И до того мне стало радостно, что я не выдержал и запел. Запел во все горло. Мотор поет, и я пою. Что есть мочи пою...

— А что пел? — облегченно вздохнув, вдруг с улыбкой спросил Бахметьев.

— Нашу авиационную.

Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Угрюмый танк не проползет,
Там пролетит стальная птица.

— Ну-у! А когда к своему аэродрому подлетал, тоже пел? — не унимался повеселевший Бахметьев.— Под зенитками-то небо, чай, в овчинку показалось? А? — И он лукаво прищурился.

— А как же? Пел! Все время пел! Ведь на батарее-то у меня командир приятель, земляк,— засмеялся Анохин.— Узнал по почерку! Да и я его повадки тоже знаю. Учел...

* * *

Далеко за полночь расходились летчики. Стихал ветер. Светлело небо. Цепляясь за верхушки деревьев, куда-то за сопки уползали рыхлые, хмурые облака. На стоянках перекликались часовые, изредка доносилось: «Стой, кто идет?»,— и опять все смолкало. Где-то над лесом взлетали сигнальные ракеты. Рассыпаясь брызга-

ми разноцветных огней, они медленно гасли в пространстве темной фронтовой ночи.

Через час, другой начнет светать. Мощный рев моторов разбудит тишину раннего утра. И тогда туда, в хмурое холодное небо, снова пойдут эскадрильи тяжелых стальных птиц.

— Желаем удачи!..— скажут им на аэродроме и долго, долго будут глядеть вслед, пока самолеты не скроются в туманной дымке далекого горизонта.

НАЗЕМНЫЙ ЛЕТЧИК

Механик второй эскадрильи Матвей Кочкин бесцельно бродил вдоль путей, погрузившись в свои невеселые думы. Широкое лицо его, щедро заляпанное веснушками, часто хмурилось, и тогда выцветшие косматые брови сползали вниз и почти наполовину закрывали такие же бесцветные, словно выгоревшие на солнце, глаза. Даже походка у Кочкина была вялой, неуклюжей: казалось, он не шел, а ступал через силу, не сгибая ног. Правда, когда его блуждающий взгляд невольно останавливался на ком-либо из старших по званию, он выпрямлялся, бодро вскидывал руку под козырек, а затем снова опускал крупную, не по фигуре, голову и продолжал вышагивать, хмурясь пуще прежнего.

А хмуриться было от чего.

Все ребята в эскадрилье как ребята — воюют, а вот он, горемыка, второй день торчит на какой-то захудалой станции, ругается с ее начальником, со стрелочниками. А, спрашивается, из-за чего? Да из-за палтформ, двух платформ, которые железнодорожники вместо того, чтобы отправить дальше, в тыл, вчера ночью снова загнали в тупик и забыли о них. А ведь на платформах-то самолеты, не какие-нибудь там «керосинки» [1], а «ястребки», славные «ишачки». Ведь их нужно срочно в мастерские доставить, слегка подремонтировать, а там снова в воздух подымать, фашиста бить. Так нет ведь...

И Матвей, лишь бы только сорвать злость на ком-нибудь, вдруг набросился на столпившихся возле платформ ребятишек, жадно разглядывавших самолеты и недоумевавших, почему у самолетов нет крыльев [2].

---

[1] «По-2».

[2] При транспортировке самолетов по железной дороге крылья их обязательно снимаются.

— Эт-то что за экскурсия? А ну, марш отсюда!

Ребятишки испуганно переглянулись, однако с места не тронулись.

— Я кому говорю! — грозно добавил Кочкин.

Ребята бросились врассыпную.

— Чего ты, Матюша, их пугаешь? — пожалел малышей Егор Калинников, долговязый, нескладный солдат лет сорока. Он сидел на стабилизаторе «ястребка» и, зажав винтовку между колен, латал шинель.— Нешто криком делу поможешь,— не поднимая головы, продолжал он, старательно работая иглой.

Кочкин почувствовал себя уязвленным.

— Что-о? — вскипел он, принимая начальствующий вид.— Ты как разговариваешь, где находишься?

Калинников, отшвырнув шинель, проворно поднялся, с удивлением и немым укором глянул сверху вниз на командира своими подслеповатыми глазами, как бы говоря ему: «Ну, что ты, Матюша, понапрасну из себя выходишь?» Но когда Кочкин резко повторил ему, что тот находится на боевом посту и не должен никого, даже мальчишек, близко подпускать к самолетам, щелкнул каблуками ботинок и ответил:

— Есть, никого не подпускать, товарищ начальник эшелона!

И Кочкин сразу «отошел», он даже пожалел, что слишком круто обошелся с этим добродушным, исправным бойцом из вчерашних колхозников, однако показать этого не хотел. Как-никак, он все-таки командир, а Егор — его подчиненный.

— Время-то, видишь, какое — война,— только добавил Кочкин и снова, опустив голову и машинально отсчитывая шпалы под ногами, медленно зашагал вдоль эшелона.

Но чем дольше он бродил, тем сильнее в нем разрасталась обида и на самого себя, и на командира эскадрильи, который послал его с эшелоном, и на жару, которая донимала его не меньше, чем комары, монотонно жужжавшие над ухом. Не выдержав, Кочкин опять, уже третий раз за день, пошел к начальнику станции. Тот выслушал его внимательно, даже чересчур внимательно, но ничего определенного не сказал.

— Подождите до вечера. Возможно, отправим.

— Не могу я ждать,— доказывал Матвей.— Самолеты еще вчера должны прибыть на место, а вы их в тупике держите. Пора бы вам на военный лад перестроиться...

— Ладно, ладно,— досадливо отмахнулся начальник,— до утра все равно всех отправлять придется. Фронт, слыхать, подходит. Так что эвакуируем всех. Да, да, всех.

Поспорив еще немного, вконец расстроенный, Кочкин побрел к своему «эшелону».

— Ну, что? — встретил его вопросом Калинников.

— Плохо, Егор,— и он поведал ему о разговоре с начальником.

— Н-да-а,— уныло протянул тот и для чего-то отвел затвор винтовки, оглядел его, потом не спеша закрыл снова. Калинников вообще все делал медленно, не торопясь. Вот и сейчас он не спеша поправил размотавшуюся на ноге обмотку, потом прошелся по платформе и только после этого сказал спокойно, словно речь шла о самом обыденном:

— Прет фашист здорово. Это верно. Только надолго ли у него пороху хватит?

Кочкин молча расстегнул ворот гимнастерки и устало опустился на борт платформы.

С высоты ее он хорошо видел, как по путям бегали стрелочники, кондукторы, бойцы железнодорожной охраны, как, разгоняя хриплыми гудками суетившихся людей, от стрелки к стрелке сновал старенький маневровый паровоз, формируя составы для эвакуации в тыл. Потом Матвей увидел, как через станцию, не останавливаясь, промчались один за другим эшелоны с зерном, заводским оборудованием, с ранеными, с эвакуируемыми детьми и женщинами, а по пыльным дорогам потянулись стада коров, вереницы повозок, автомашин, толпы людей. И над всей этой серой от пыли и копоти лавиной повис крик ездовых, плач детей, гудки машин, тревожное мычание животных.

Страшное и ненавистное слово «фашисты», нарушив спокойную ритмичную жизнь станции и окрестных деревень, ускоряло это движение, гнало и гнало живой поток вперед, не давая застопориться, остановиться.

В небе изредка появлялись наши истребители, и тогда Матвей вскакивал, начиная отчаянно махать руками,

словно они могли заметить его. Но самолеты делали круг, другой, а затем уходили куда-то на запад, пропадая за очертаниями далекого леса.

Когда раскаленный диск солнца перевалил за водокачку и жара стала спадать, набежавший ветерок донес со стороны фронта слабый, едва уловимый гул канонады. Позже он стал отчетливее, так что даже можно было различить отдельные выстрелы, отдельные глухие взрывы.

Кочкин забеспокоился, нетерпеливо прошелся по платформе.

В это время на станцию прибыл паровоз.

«Возможно, нас захватит»,— подумал он, но паровоз, даже не заходя в тупик, с ходу подцепил заранее сформированный состав и, дав гудок, тут же отправился обратно. Вслед за ним ушел и маневровый с десятком старых «пульманов», оставив после себя лишь полоску бурого, вытянувшегося над лесом дыма.

— Подождем следующего,— не теряя надежды, вслух проговорил Матвей.

Но прошло еще часа два, а паровозов так и не было. Кочкин занервничал не на шутку. А тут еще вдобавок по станции прошел слух, что немцев видели совсем недалеко отсюда, километрах в десяти-пятнадцати.

— Что делать? — снова обратился он к начальнику станции.

— Что делать? — переспросил тот.— Да только ждать паровоза, больше ничего не остается,— добавил он неуверенно.

Кочкин посмотрел на его худое, испещренное морщинками и красноватыми прожилками лицо, на его старенькую фуражку с погнутым козырьком и понял, что начальник и сам порядком встревожен и ждать от него путного, пожалуй, нечего. Он опять вернулся к Калинникову. Тот выслушал его вроде спокойно, но когда на станцию прибыла новая толпа беженцев, сообщившая, что через пару часов фашисты будут здесь, принялся ругать начальника станции. А потом, поостыв, вдруг перейдя на шепот, предложил самолеты поджечь, а самим подаваться в лес. «Места мне здесь знакомые,— говорил он, с тревогой прислушиваясь к орудийным выстрелам, все чаще и отчетливее доносившимся с запа-

да.— Лес пройдем, река будет. Глядишь, лодкой или плотом разживемся...»

— А самолеты, значит, сжечь? — резко повернулся к нему Матвей, и глаза его сделались недобрыми.— Да ты не только говорить, но и думать об этом не смей. Слышишь?

Прошла минута, другая. Разговор не возобновлялся. Каждый был погружен в свои невеселые думы.

«Егор, конечно, по-своему прав,— размышлял Кочкин.— На паровоз рассчитывать, пожалуй, нечего. Но и самолеты поджигать жалко. Ведь это же тысячи народных рублей. А потом, сколько мытарств из-за них принять пришлось, а тут на тебе — поджечь. Нет. Пока этого делать не стоит. Разве только в крайнем случае. А сейчас нужно придумать что-то другое. Но что? Что?» — продолжал размышлять он, машинально прижимаясь щекой к лопасти винта и ощущая ее тепло, пока чей-то негромкий голос не вывел его из задумчивости.

— Торопись, соколик. Фашисты, слыхать, недалече. Враз заявятся.

Кочкин обернулся. На него озабоченно смотрел узкоплечий, с цыганской бородкой старик, правивший небольшой, но шустрой и крепкой лошадкой. Свесив ноги с телеги, одной рукой он держал вожжи, другой — кавалерийский карабин.

— Торопись, соколик,— повторил старик.— Самолеты-то исправны ли?

Матвей невесело улыбнулся, промолчал.

— А ежели бензину нету,— словоохотливо продолжал тот,— так вон, за водокачкой, целая машина этого продукта стоит. Бери — не хочу.

Но видя, что Матвей не отзывается, он не то с удивлением, не то с жалостью посмотрел на него и дернул вожжой. Лошадка резво тронула с места.

— Постой! — вдруг крикнул Кочкин.— Постой! — и словно боясь, что старик может не остановиться, бросился за повозкой.

Старик сдержал лошадь, пытливо глянул на подбежавшего сержанта.

— Так бензин есть, говоришь? — быстро заговорил Кочкин, и по его лицу было видно, что он затевает что-то необычное.— Есть?

Старик кивнул утвердительно.

— Егор-р-р! — закричал тогда Матвей Калинникову.— Егор!

— Что? — подбежал тот.

— Егорушка, дорогой,— сбивчиво начал Кочкин, потом вдруг бросил коротко, по-военному: — Поезжай с дедом за бензином! Ты ведь, дед, не против? — только после этого повернулся он к старику.— Вот, вот. Две бочки привезете, и довольно.

— Самолеты поджигать? — встрепенулся Калинников и понимающе глянул на него своими подслеповатыми глазами.

— Дурень! — не удержался Кочкин.— Не поджигать, а мотор запускать. Понял? Нет, так слушай. И ты, дед. Так вот. Видите, первый самолет, головой туда, в тыл смотрит. Вот мы его и запустим. Тяга у мотора здоровая. А самолет-то ведь пришвартован к платформе. Вот мотор и попрет ее, платформу-то. Да еще как! Значит, решили? Ну, ну, поезжайте, поезжайте,— и расходившийся Матвей озорно хлопнул ладонью по крупу лошади.

Не прошло и двадцати минут, как бочки с бензином были доставлены к головной платформе. Кочкин же тем временем вдоль и поперек облазил самолет, осмотрел мотор, подготовил его к запуску.

— Теперь ведро доставай,— распорядился он.

Но Калинников вместо ведра притащил с вокзала пузатый бачок для питьевой воды с жестяной кружкой на цепи.

— Подойдет и это,— похвалил его Матвей за находчивость.— Наливай!

— Есть!

Вскоре содержимое бочек переместилось в бак самолета.

Повеселев, Матвей с лихорадочной поспешностью взобрался в кабину, еще раз проверил приборы, оборудование. Все было в порядке.

— Ну, запускаем,— проговорил он и дрожащей рукой открыл пусковой вентиль. Лопасти винта тотчас же дрогнули и начали неторопливо проворачиваться. Матвей открыл вентиль до конца — винт завращался быстрее, без рывков. Тогда он, дав немного газа, торопливо нажал на пусковую катушку.

— Чих-пах,— чихнул мотор, выбросив из выхлопных патрубков языки пламени,— чих-пах, чих-пах,— и вдруг

взревел во всю силу. На путях, над поселком, взметнувшись высоко в небо, разлился протяжный гул. Мотор словно обрадовался, что наконец-то ожил, пришел в себя, и продолжал гудеть, гудеть, гудеть...

Это привлекло внимание людей, и вскоре возле платформы образовалась толпа, с удивлением разглядывавшая необыкновенный эшелон. Матвей, убедившись, что мотор работает хорошо, не подведет, убрал газ и, слегка побледневший, но радостный и улыбающийся, выбрался из кабины. Даже веснушки на его носу и щеках сейчас, казалось, радовались вместе с ним, блестели ярче обыкновенного.

— Вот что, дорогие товарищи,— обратился он к столпившимся.— Если вы хотите отсюда выбраться, помогите нам платформы с места сдвинуть. Только сдвинуть, а там их вот мотор потащит. Значит, согласны? Дети и женщины пусть сразу садятся, а то потом, на ходу, не успеют,— и, стараясь ободрить их, зычно скомандовал:— На посадку!

Пока женщины с детьми рассаживались на платформах, Матвей подошел к старику.

— Ну, спасибо тебе, дед, выручил,— и он протянул ему руку, но потом, передумав, вдруг крепко поцеловал его в густую, пахнувшую табаком бороду.

— Не за что, соколик,— просто ответил тот и, попрощавшись, направился к телеге, взбив на ней сено, уселся, тронул вожжами и уже через минуту скрылся где-то в кривых улицах станционного поселка.

Проводив его благодарным взглядом, Кочкин вспомнил, что пора поторапливаться, и вскочил в кабину. Егор по его знаку убрал с рельсов березовую плаху, которая выполняла роль тормозных колодок.

— Ну, трогаемся! — крикнул Матвей и дал газ.

Мотор взревел, сильная струя воздуха хлестнула по насыпи, подняв позади себя облако песчаной пыли. В тот же момент люди по команде Калинникова дружно навалились на платформы, толкая их вперед.

Прошла секунда, другая...

И вот этот необыкновенный эшелон с могучим ревом, от которого едва не лопались перепонки в ушах, сначала помедлив немного, словно колеблясь, вдруг тронулся: поначалу медленно, затем быстрее и быстрее... Вот Матвей уже почувствовал одно, вслед

за тем другое, третье постукивание колес на стыках рельсов, потом толчки на стрелках и, наконец, знакомое равномерное покачивание...

Он обернулся назад — веселый, раскрасневшийся. На путях почти никого не было — все, кто мог, уже взобрались на платформы и рассаживались под самолетами. Возле водокачки стоял лишь начальник в своей старенькой красноверхой фуражке и с ним еще пять-шесть железнодорожников. Они в недоумении разводили руками, видимо, не совсем понимая, что же в сущности произошло.

Но вот они вдруг разом присели, втянув головы в плечи; потом бросились в разные стороны: кто под ближайшие вагоны, кто за водокачку, кто за насыпь.

Матвей посмотрел вверх.

К станции с запада подходила стая фашистских бомбардировщиков. Не ломая строя, словно на ученье, самолеты стали поодиночке отваливать в сторону и, круто перевалившись, почти отвесно падать к земле. В тот же момент к небу из-за леса взметнулись огромные столбы земли, песка, дыма, вырвались длинные языки пламени. Где-то, видимо, возле водокачки, вспыхнул пожар, за ним второй, третий...

А эшелон Кочкина, набирая под уклон скорость, оставляя позади себя стрелки и расползавшиеся от них нити рельсов, уходил все дальше и дальше на восток, к соседней станции, будя и будоража на своем пути и само небо и устремленный в него остроконечными вершинами лес.

НЕБО ХРАНИТ ТАЙНУ

ПОВЕСТЬ

I

В землянке он появился под вечер, уже в сумерки. В мокром от дождя реглане, рослый, голубоглазый, с белозубо-насмешливой, но ничуть не обидной для других улыбкой, он сразу же вызвал у летчиков какое-то особое любопытство, особый интерес. Уже по тому, как он резко распахнул охнувшую дверь, а затем, войдя, ловко, чтобы она не ударила его в зад, придержал ногой — руки у него были заняты вещмешком и чемоданом — он показался им не таким, как все. К тому же у вошедшего во всю щеку, правда, нисколько его не уродуя, голубел шрам, и один из летчиков, старший по возрасту, перестав сдавать карты — от нечего делать летчики резались в подкидного дурака,— невольно встал ему навстречу и, вместо ответа на приветствие, понимающе, скорее даже сочувственно утверждая, чем спрашивая, проговорил с дружеской фамильярностью:

— «Мессер»?

— Нет. Кобель соседский.

Ответ пришельца, хотя и не погасившего белозубой улыбки, если не покоробил, то во всяком случае разочаровал летчиков. Они почему-то ждали от него совершенно другого, даже чуточку необычного, и тут — на тебе — кобель какой-то, а спрашивавший — это был летчик второго звена лейтенант Доронин, и тоже со шрамом, только не на щеке, а на виске, и не от кобеля какого-то паршивого, а от «мессершмиттов» — откровенно досадливо поморщился и с подчеркнуто пренебрежительным видом отправился на свое место и, как ни в чем не бывало, снова начал сдавать карты. Лишь после, как сделал первый ход, внушительно выбросив на стол козырную шестерку, он все же, верно, для приличия, а может, чтобы сгладить невыгодное впечатле-

ние, произведенное ответом пришельца на его, как он, видно, с опозданием подумал, не к месту и не вовремя заданный вопрос, переспросил постным голосом:

— Кобель, говоришь? Эт-то интересно,— и, все так же не поворачивая головы, зато бессовестно заглядывая соседу в карты, добавил нараспев:— А сам ты кто же будешь, товарищ покусанный? А? — И высоко, не сгибая в локте, вскинув руку, сделал следующий ход.

— Извините, но вы, кажется, не с той карты пошли,— вместо ответа, мягко остановил его от порога вошедший.— Точно, не с той. Надо девятку, а вы восьмерку сбросили. Вот, теперь в ажуре,— и, поставив вещи на пол, взял, наконец, под козырек и, будто врубаясь в строй, в один присест отрекомендовался:— Лейтенант Бурноволоков. Штурман. Из ЗАПа[1]. К вам в эскадрилью. Как говорится, для прохождения дальнейшей службы.— Потом, уже заметно сбавив обороты, с виноватой улыбкой: — Шрам же этот у меня действительно от соседского кобеля. С детства.

Летчики прервали игру, конфузливо переглянулись: пополнение, оказывается, новичок, нашего полку прибыло, а Доронин, быстренько смекнув, что новичок, быть может, как раз к нему в экипаж, вместо его недавно погибшего штурмана, уже более миролюбиво глянул в его сторону, вроде даже соболезнующе покивал ему своей крутолобой, стриженой «под ежика», головой с розовыми мясистыми ушами и опять повторил, видно, не найдя другого слова:

— Интересно, интересно!

— Интересного мало, если разобраться. Дурость одна,— снова повеселевшим голосом отозвался новичок и, не дожидаясь приглашения, прошел чуть вперед, ища глазами, куда бы пристроить реглан с пилоткой.— Ага, вот,— обрадовался он, найдя в стене свободный гвоздь и пробуя, крепко ли он там сидит.— Теперь порядок.— И снова, не обращаясь ни к кому в отдельности, точно самому себе, но невольно притягивая к себе взгляды, продолжал:— Дурость, говорю, одна. Из-за этого шрама меня и в ЗАПе за фронтовика принимали. Честное слово! Один раз даже на встречу с детворой пришлось идти. Со стыда чуть не сгорел.

[1] Запасный авиационный полк.

Вызывает меня, значит, комиссар полка и говорит: «Поедешь в детский сад. В порядке шефства. Расскажешь ребятишкам, как воевал. Дух у них поднимешь. Фронтовые эпизоды разные, позанимательнее которые». «Ошибочка, говорю, товарищ комиссар. Я и на фронте-то еще не был». У того глаза на лоб: «Как не был?» «А так, не был — и все». «А чего же ты, говорит, мне голову морочил? Вот у меня список — фронтовиком числишься». «Не морочил, отвечаю, я вам голову. И фамилию свою в список не давал». «А почему же тогда тебя, я сам, дескать, слышал, фронтовиком кличут?» «Из-за шрама, наверно, этого. В шутку». «А шрам откуда?» «От кобеля соседского. С детства». От таких моих слов комиссара чуть удар не хватил. Минут пять не мог слова вымолвить. А пришел в себя, говорит: «Заменить бы тебя, стервеца, да некем. Но и мероприятие срывать нельзя, не положено. Только полк осрамим. Потому мой тебе приказ: садись в машину и тотчас поезжай в детсад. Без разговоров. Выступишь там. Только чего не знаешь, не болтай. В общем, ступай. И после доложишь. Да смотри, чтоб комар носа не подточил».

Землянка зацвела улыбками — летчики снова, уже не таясь, с любопытством воззрились на новичка, оценивающе перемигнулись: ловкий, дескать, парень, ходовой, и собою видный. Лишь большеголовый сержант с перебинтованной выше локтя левой рукой, с видом великомученика брившийся перед крохотным щербатым зеркальцем в дальнем углу землянки, отставил бритву в сторону и, вздув на шее жилы, проговорил с натугой и вроде бы не совсем трезво:

— И вы поехали? Согласились?

В голосе его послышалось не только любопытство, и новичок, точно силясь разглядеть, кто это его спрашивает — на всю землянку была одна-единственная керосиновая лампа — помолчал немножко и ответил уже не так бойко, но все же со значением:

— Попробуйте не поехать. Комиссар полка ведь — четыре шпалы [1].

— Верно — комиссар. Ну, и чем дело кончилось?

Это уже спросил Доронин, спросил внушительно, так, что всем, особенно сержанту, застывшему с брит-

---

[1] Воинские знаки различия.

вой в руке, стало ясно: не перебивать, пусть рассказывает до конца, вопросики, мол, придержать под занавес. Так это понял и Бурноволоков и, виновато посутулив плечи, закончил со смешанным чувством стыда и балагурства:

— Выложил им пару баек, какие от ребят знал, да из газет вычитал, и тут же, как говорится, газ — по защелку, опережение — до ушей. Дай бог ноги, в общем.

И снова летчики, позабыв о картах, возбужденно зашевелились, невольно давая этим понять новичку, что поступил он если и не совсем порядочно, то во всяком случае смело, не растерялся, словом, проявил, что называется, армейскую находчивость, а раз так, то и вояка из него должен быть добрый. А Доронин даже привстал и, словно боясь, что его могут опередить, поспешил предложить ему койку, что пустовала рядом с его собственной:

— Вот тут и приземляйся. Капонирчик удобный. Свободный,— и, неуклюже взбив подушку, добавил, приспустив веки:— А портретик можно убрать, ежели мешает. Теперь он ни к чему.

Над койкой — два топчана и деревянный щит,— как раз в простенке между окон и в самом деле висела выцветшая фотография какой-то миловидной рыжеватой женщины. Бурноволоков обратил внимание, что глаза у нее чуток вытаращены, будто от испуга. «Не иначе, фотограф напугал,— усмехнулся он про себя.— А на обороте, наверное, что-нибудь вроде «Юре от Нюре» или «Люби меня, как я тебя»,— и вдруг тут же резко — половица под ногой скрипнула — обернулся к Доронину, как-то болезненно прищурился и глухо спросил:

— Вдова, выходит, чья-то? И давно?

Тот неуклюже потянулся к лампе поправить фитиль. Руки у него были короткие — не достал. Пришлось встать. Табурет с грохотом отлетел к стене.

— Давно, говорю, сбили? — водворив табурет на место, опять глухо, но уже настойчиво переспросил Бурноволоков. Что-то подсказывало ему, что он имеет право на эту настойчивость.

— Неделю назад. «Мессера». Штурман мой. В одном экипаже. С хвоста зашли. Из пулемета. Насмерть. А Степану вон, стрелку-радисту,— кивок в сторону

брившегося сержанта,— руку поцарапали. Выше локтя. А это жена штурмана. Только перед войной поженились. Да вот не повезло. Убери, ежели мешает.

Начал говорить Доронин вроде бы виновато, сдавленным голосом, не поднимая головы, а кончил вдруг с раздражением, шумно сопя носом и злобно косясь то на одного, то на другого, будто они были виноваты в случившемся. Бурноволоков смекнул: говорить ему об этом трудно, и чтобы разрубить сразу же наступившее вслед за этим неловкое молчание, с грохотом приволок от входа чемодан, с шумом рванул на себя крышку — и летчики, с любопытством следившие за каждым его движением, увидели поверх белья, книг и бритвенного прибора внушительного размера алюминиевую флягу.

— Солдат один дал,— смущенно пояснил Бурноволоков, взвешивая ее на руке.— Шофер, с которым сюда добирался. Он как раз бочку спирту вез. Бери, говорит, у меня лишку. Я и взял, не отказался. Только вот закусить нечем.

— Пойдет и так,— разом подобрев, но все еще шумно сопя, поспешил успокоить его Доронин. Потом, широкой ладонью смахнув со стола карты и дав знак кому-то, чтоб принесли стаканы, спросил:

— Как звать-то тебя, штурман?

— Иваном, Иваном Лукичом.

Отчество Бурноволоков назвал просто так, на всякий случай, скорее по инерции, так как знал: по отчеству его, двадцатилетнего лейтенанта, в полку так и так называть не будут — не тот возраст.

— Ваня, значит,— уточнил Доронин, со звоном ставя на стол один-единственный граненый стакан — больше не нашлось. Кружка же — для воды, запивать, кто сухогорлый.

— Нет, Иван.

— Ну, Иван, так Иван,— охотно согласился тот.— А меня Платоном кличут. С детства. Еще когда под стол пешком ходил. А это вот,— добавил он, нарисовав рукой в воздухе нечто среднее между «иммельманом» и «боевым разворотом» [1],— эскадрилья, значит, наша. Вторая в полку. Это по счету. А по храбрости — первая.

---

[1] Фигуры высшего пилотажа.

— И по потерям тоже,— в тон ему подсказал продолжавший коромыслом гнуться перед зеркалом его стрелок-радист, по фамилии Клещевников, и опять, как показалось Бурноволокову, не совсем трезвым — вроде как резину жевал — голосом.

Доронин сузил глаза, но ответил мягко, с чуть заметной укоризной и тщательно подбирая слова:

— На войне, Степа, без потерь не бывает, без потерь не обойтись. Это вещь вполне закономерная. Наше дело такое: или грудь в крестах, или голова в кустах. В общем, нельзя, Степа, на войне без потерь. Невозможно.

— Потери потерям — рознь,— снова подал из угла голос Клещевников, уже без улыбки, и теперь Бурноволоков окончательно убедился, что тот был под хмельком. И еще он почувствовал, что Клещевников намеренно перечил своему командиру экипажа, вроде хотел затеять с ним ссору. Но Доронин сделал вид, что не разобрал его последних слов и, секунду-другую послушав, как под рукой Бурноволокова булькал из фляги в стакан спирт, умиротворенно произнес:

— За встречу, значит, за знакомство! И за службу нашу общую. А она, знаешь, не легкая: то «мессера», то зенитки, так что и пропустить по махонькой не грех, особенно перед ужином.

Первым, по общему настоянию, выпил сам Бурноволоков. Разом полыхнувший во рту пожар притушил услужливо поданной кем-то кружкой воды. За ним — Доронин. Этому неразведенный спирт — что слону дробинка, даже не поморщился. Только крякнул для солидности. Потом к столу, крохотному, без клеенки, подходили остальные летчики — человек десять-двенадцать — все, что к тому времени уцелело от эскадрильи. Пили тоже степенно, не торопясь, стараясь перед новым товарищем не ударить в грязь лицом: не привыкать, дескать, и не такое пивали. И приговаривали, каждый на свой лад:

— Будь здоров, лейтенант!

— Дай бог, не последнюю!

— Хто б ее пыв, колы б не нужда!

Лишь низкорослый и рыжий, как подсолнух, летчик первого звена младший лейтенант Тамбовцев подошел к столу не как все, а как-то боком, левым плечом впе-

ред, посадив на него изрядное пятно с недавно побеленной печки, и, суетливо ощупав на гимнастерке пуговицы, произнес торопливо, будто кто его подгонял:

— Чтоб ни «мессеров» вам, товарищ лейтенант, не встречать, ни зениток не видать. А особенно над Алакурти не появляться. Семьсот стволов там — сила! И круглые сутки «мессера». Вот. Ну, за здоровье, товарищ лейтенант, и за все такое прочее, чтоб жить и не умирать,— и, опасливо покосившись на дверь, за которой, кроме глухого шума дождя, ничего не было слышно, «дернул» стакашек с таким видом, словно без парашюта прыгал за борт самолета.

Поблагодарив его взглядом, Бурноволоков поспешил протянуть ему кружку с водой, но Тамбовцев, как-то неестественно дернув шеей и раз за разом отчаянно икнув, протестующе замахал руками и — левое плечо вперед — вдруг с возрастающей скоростью, снова задев за печь, порулил к выходу. У самой двери он не сдержался и, зажав обеими руками рот, опрометью выскочил из землянки вон.

— Значит, насытился по самые ноздри,— не то осуждая его, не то оправдывая, счел своим долгом благодушно пояснить Бурноволокову Доронин, хотя и так все было ясно.— Тонка кишка на это дело. Ну, да еще привыкнет.— Затем, прищурив на него свои сухие даже после выпитого спирта, без блеска глаза, добавил с потугой на остроумие:— Одет ты, штурман, как я погляжу, прямо с иголочки, во все новенькое. Точно на парад. Только почему штаны пехотные, с красным кантом? И на гимнастерке кант красный? Других в ЗАПе, что ли, не было?

— Не было,— вяло отозвался тот, не спуская беспокойного взгляда с двери, за которой скрылся Тамбовцев. Потом, размяв папиросу и прикурив ее от лампы, пояснил:— Это еще что. Другие экипажи даже в танковую форму обрядили, когда на фронт отправляли. Представляете: стальной френч с черными бархатными петлицами, а в петлицах — «птички». Не хватает, видно, обмундирования для нашего брата, а может, интенданты поднапутали, завезли не то, что надо...

— Интенданты — они мастера на такие штучки,— ухватившись за последнее с энтузиазмом, поддакнул Доронин, но, видно, тут же раздумав пройтись на их

счет — не время, дескать, в другой раз — вдруг широко улыбнулся и произнес с видом знатока: — А шрам у тебя, друг Иван, и точно боевой, вроде как от «мессеров». Не разберешь, что кобелек покусал. Как же это он тебя? А? Характерами, что ли, не сошлись?

Бурноволоков, не вынимая изо рта папиросы, неопределенно пожал плечами и снова посмотрел на дверь.

— Нет, все-таки, чего не поделили? А? — опять спросил Доронин и, лихо глянув на ребят, многозначительно поджал губы.

Бурноволоков понял: рассказать придется — две дюжины глаз, помасляневших от выпивки, снова уставились не него с властным любопытством и нетерпением, так не ломаться же, как пряник — и, стряхнув пепел в приоткрытую дверцу печки, он начал неторопливо, но и не давая повода подгонять себя:

— Двенадцать лет мне тогда было. На хуторе мы жили, на Кубани. Садов там у нас — счету нет. Сплошь сады. Волк из лесу прибежит — заблудится. У нас тоже сад был. И яблок там, и груш, и слив — всего вдоволь. Но, известно, у соседа они всегда слаще и поспевают раньше. Вот я и соблазнился соседскими грушами. А у соседа, на беду, кобель. С теленка. И злющий, почище тигра. Не подойдешь. Один парнишка попробовал, так он у него чуть ли не ползадницы оттяпал. В больнице даже лежал. С неделю, пожалуй, ей-богу. Вот все и забоялись туда лазить. Я же, наоборот, решил доказать, что мне-то уж все нипочем, я не я, мол, буду, если соседских груш не отведаю и ребят ими не угощу. Раз плюнуть, дескать. Даже об заклад побился. А сунусь в сад, кобель тут как тут. Один раз штанину располосовал, из одной две сделал. В другой — ботинок прокусил.

Летчики шевельнулись, посгрудились плотнее. Вот уже вторую неделю кряду они почти безвылазно сидели в землянке — не было летной погоды — и, дурея от скуки, резались то в осточертевшего «подкидного», то «забивали козла» и, понятно, были сейчас рады любому свежему слову, любому рассказу и даже анекдоту. Ведь друг о друге они уже давным-давно все знали, вплоть до того, кто сколько раз на день до ветру ходит, все друг о друге давно повыведали, а тут — новичок. Нович-

ка же всегда любопытно послушать, особенно такого, как этот ходовой красавец штурман. И не важно им сейчас было, врал этот штурман или говорил правду. Если и врал, то врал занятно, солидно — и летчики, поудобней оседлав скамейки, самоотверженно тянули в его сторону шеи и неутоленно, в сладкой истоме щурили на него глаза.

— Ребята, известно, смеются, проходу не дают,— в полной тишине продолжал меж тем Бурноволоков.— А меня злость берет. И тут решил я, что перво-наперво мне надо кобеля на тот свет спровадить. Не убить, а отравить, скажем. Тогда и груши будут мои. Только где зелья взять такого? Яду, значит. Думал, думал, и решил я ему вместо яда иголку с горбушкой хлеба сунуть. Глядишь — и подавится. Так и сделал: взял дома иголку, запрятал ее в мякиш — и к саду. Кобель там, понятно, на своем посту. Бросил ему, а сам бежать. Настала ночь, я снова туда. В полной уверенности, что подавился. Иголка ведь, не что-нибудь. И только я ногу на забор, он — ко мне. Живехонек. И вроде злее стал. Опять еле ноги унес. Но все равно, думаю, сегодня не вышло, завтра выйдет. На другой день я ему уже две иголки, да поздоровее, в хлеб законопатил. И опять то же самое: только я в сад, он тут как тут. Ничего не берет. Едва штаны на заборе не оставил. А все равно не отступаюсь: что ни день, новую иглу ему, а то и две. Мать на меня коситься начала: куда это, мол, иголки деваются, не напасешься. А потом и прятать стала. А я погляжу и цап-царап. А затем и у дружков стал таскать. Приду к кому, увижу иголку — и в карман. А кобелю опять хоть бы хны. Иголок, поди, сорок в нем, целая швейная мастерская, а он живехонький, на весь хутор заливается, страх на добрых людей нагоняет. Я же чуть не плачу. И тут решил я ему уже не швейную, а шорную иглу подсунуть. Какими хомуты чинят. Специально у конюха спер. Ну, думаю, теперь-то уж он наверняка окачурится. Не иголка ведь, шило. Все кишки насквозь пропорет. И верно, сделал это дело и ночью — к саду. Подошел — тихо. В заборе дырку соорудил — тоже тихо. Сую в нее голову — и тут же он, стервец, точно из-под земли, как хва-аа-тит меня за щеку, аж головешки из глаз посыпались. И молчком почему-то, без рыка. Хоть

бы взвизгнул. Зато я голос подал. На том конце хутора, говорят, слыхать было...

Пламя в «пятилинейке» качнулось, тени на потолке и стенах сбились в кучу — летчики схватились за животы. Не сдержался и сам рассказчик, тоже широко раздвинул губы в улыбке.

— С тех пор вот и хожу с этой штуковиной,— добавил Бурноволоков и смущенно провел пятерней по шраму.— Ношу ее при себе.

— Вместо удостоверения личности, значит,— в тон ему поддакнул Доронин.— Бывает, бывает. Пошел, как говорится, по шерсть, а вернулся стриженым. Бывает,— и вдруг, разом оборвав смех, с дружеской бесцеремонностью хлопнул его по плечу, предложил: — А не махнуть ли тебе, штурман, к нам в экипаж. А? Место, как знаешь, свободное. Вместе утюжить воздух будем. Ты, я и Степан.

Предложение Доронина польстило Бурноволокову. Только не от него, Бурноволокова, это зависело — экипаж себе выбирать. На то командир и штурман эскадрильи есть, им и карты в руки. И потому, покашляв для видимости, ответил сдержанно:

— Это уж как начальство решит.

Но Доронин уже в раж вошел.

— Что начальство? Летать ведь нам с тобой, нам и решать надо,— постанывая от возбуждения, загудел он уже на всю землянку.— А начальство я на себя беру. Поговорю. Не откажут. Было б твое желание. Согласен? — И цепко, словно тот увертывался, тянул его взглядом к себе, даже злился, хотя не мог не догадываться, что Бурноволоков так и так его экипаж вряд ли минует.

Понимали это, верно, и другие летчики, но не мешали тому куражиться, только сдержанно, не размыкая ртов, улыбались. Не улыбался лишь доронинский стрелок — радист Клещевников. Словно разговор этот его не касался, он отошел в дальний угол землянки, куда свет от лампы почти не доставал, и, затаясь в тени, исподлобья взглядывал оттуда то на одного, то на другого. И было непонятно, против он нового штурмана или нет. Лишь когда Бурноволоков, поддержанный кем-то из летчиков, кажется Тамбовцевым, убедил, наконец, Доронина, что разумнее подождать до завтра, как начальство решит, так оно и будет, а сам он нисколечко не против, опять

вышел на свет и проговорил не то в шутку, не то всерьез:

— Правильно, не спешите, товарищ лейтенант, спешка, она, знаете, больше при ловле блох или когда с чужой женой, как говорится. А тут — такое дело.

Бурноволоков, не гася улыбки, удивленно глянул в его сторону, а Доронин, истолковав слова своего стрелка как намерение поднять себя в глазах нового штурмана, бросил небрежно через плечо, но и не без строгости:

— Вашего мнения, товарищ сержант, между прочим, и не спрашивают. Ясно?

Это подействовало — Клещевников, будто споткнувшись обо что-то, разом приниженно сгорбатил спину и, хороня раненую руку, чтобы не задеть за тесно сдвинутые койки, заковылял в свой закуток. Но на полдороге вдруг резко обернулся и, накрыв полземлянки большеголовой тенью, со злым упрямством произнес:

— Не спрашивали, а я скажу. Рот затыкать нечего.

Бурноволоков опять с недоумением перевел взгляд в его сторону и только теперь увидел, что Клещевникова развезло окончательно, он еле стоял на ногах и, чтобы не потерять равновесия, судорожно, до белизны в пальцах, здоровой рукой цеплялся за подоконник. Оказывается, еще до появления штурмана, когда Клещевников был в санчасти, на перевязке, его сердобольная Настасьюшка, работавшая там медсестрой, исключительно из сострадания к его ране, поднесла ему вместительную мензурку чистейшего спирту. А тут вскоре и Бурноволоков подоспел со своей флягой, вот его и разобрало, а заодно и храбрости поддало, каковой он вообще-то здесь, на земле, никогда не отличался, был парнем тихим, негромким, оживал только в воздухе.

— Вы хотите, товарищ лейтенант,— стараясь говорить внятно, и все же сглатывая окончания слов, с напряжением заговорил он,— нового штурмана в экипаж заполучить. А для чего? Чтобы его так же, как и Рудакова, изрешетили? А изрешетят, точно. Потому что экипаж наш невезучий. Я уж и не припомню, когда мы с вами с задания без пробоин возвращались. Не везет нам — и только,— и, уже полуобернувшись к Бурноволокову, добавил открыто-доверительным тоном: — Вы извините, товарищ лейтенант, что я так вот, прямо при вас. Чест-

ное слово, после того случая, когда потеряли Рудакова, не хотел с ним летать. Откажусь, думаю. Пойду к самому командиру полка и откажусь. Хоть к стенке ставь.

У летчиков перекосило физиономии — такого в авиации не было, чтобы стрелок-радист от своего командира отказывался. Да еще в открытую, при всем честном народе. Ну, штурман, скажем,— другое дело. Штурман может отказаться. На то он и штурман. Штурман в бомбардировочной авиации — всему голова. А тут — на тебе — рядовой стрелок-радист, человек, летающий, как говорится, задом наперед в хвосте, а туда же — летчику от ворот поворот давать. Уж не спятил ли он? А может, это ранение мозги ему на бок свернуло? Со спиртоганом вместе. Ударил спиртоган в голову, вот он и сошел с курса. И летчики с минуту пялили на него глаза не столько с возмущением, сколько с изумлением, будто на зачумленного, и лишь когда Клещевников, выговорившись до конца, бледный, видно, сам оглушенный своей необычной откровенностью, мешком опустился на койку, Доронин, наконец, поднял голову, шумно выпустил из груди воздух и проговорил сдавленно, через силу:

— Отказываешься, значит, Степа? Летать со мной, значит, не хочешь?

— Не хотел, товарищ лейтенант,— расслабленно поправил Клещевников.

— Это одно и то же,— уже пересилив себя, снова на свой обычный голос перешел тот.— Что ж, вольному — воля, спасенному — рай. Уходи. Как-нибудь и без тебя обойдемся,— и, поводив пальцем по столу, добавил с потаенной угрозой: — Только вот к кому пойдешь, не знаю? Может, вообще, в пехоту? Стрелковым отделением либо взводом командовать?

— Зря это вы, товарищ лейтенант,— все так же вяло, вроде даже с безразличием отозвался Клещевников и остекленело, будто не узнавая, поочередно обвел взглядом настороженно притихших летчиков. И вдруг снова с упрямством, точно шел на таран: — Летать с вами я не отказываюсь, а вот новому штурману лучше подождать. Рано ему на тот свет. Пусть в другом экипаже полетает. А вот нам с вами,— добавил он не то с радостной обреченностью, не то с насмешкой,— и погибнуть не грешно, как говорится. Полсотни вылетов за плечами. Чужой век заедаем...

Краешком глаза Бурноволоков увидел, как Доронин налился бледностью, которую не смог скрыть даже багровый отсвет, падавший на его лицо из полуоткрытой дверцы печки, и как весь он, словно кто из-под него потянул табуретку, посунулся вперед, грудью на столешницу, как рука его, мосластая, с рыжеватым отливом, будто невзначай скользнув по столу, сжала стакан чуть не до хруста. «Неужто ударит?» — сжался Бурноволоков и сделал опережающий шаг вперед. Доронин понял это и, прервав дыхание, с минуту просидел в той же позе, недвижно, лишь прикрыв, будто от дыма, глаза. Потом, катнув стакан по столу, рассмеялся самым натуральным образом:

— Эт-то интересно, интересно. Значит, не о себе, а о других печешься, друг Степа? Так? Вроде как ангел-хранитель, только без крылышков. Сам готов хоть головой в омут, а других жалеешь? Не знал, не знал, что за тобой такое водится — жалость. Только кому она требуется, эта твоя жалость? Кому? А? Смешно слушать даже такое, друг Степа,— и вскинув еще не остывший, в сероватой окалине, взгляд на Бурноволокова, добавил с вкрадчивой многозначительностью: — Может, тебе нужна его жалость, штурман? Говори, отвечай, не утаивай. Я ведь крепкий, слезу не уроню, выдюжу.

Бурноволоков не отвечал, продолжал стоять молча, в той же позе, чуть подавшись вперед. Да и что мог ответить он, новичок, прибывший в эскадрилью час, два назад, когда даже однополчане Доронина, вот уже второй год тянувшие с ним вместе солдатскую лямку, не решались слово вымолвить, лишь пришибленно взглядывали друг на друга да виновато переминались с ноги на ногу. А потом Бурноволоков понимал, что весь этот сырбор загорелся как раз из-за него, что не появись он сегодня или вообще в эскадрилье, здесь все было бы тихо и мирно, все бы шло своим чередом, как и должно идти в боевой, давно слетанной авиационной семье. А он появился и все полетело к чертям собачьим: и эта чистая, уютная землянка с пышущей жаром печкой, и по-особому симпатичные, какие-то домашние лица летчиков, и даже этот наивный, пошленький «подкидной дурачок», словом, все, что после долгой и тряской дороги от станции на аэродром, после холодного и нудного дождя, барабанившего в стекла кабины старенькой полуторки,

казалось раем, располагало к отдыху и покою. И вот ничего этого уже нет, а есть лишь темные, грубо проконопаченные стены землянки, потрескавшаяся печь, злое, в суровых складках лицо Доронина и неприятно коптившая керосиновая лампа. И все. Остальное, что еще недавно радовало, согревало душу штурмана, исчезло, и он, так и не ответив на вопрос Доронина, продолжал стоять будто в оцепенении.

И простоял бы, верно, долго, если б в землянке вдруг не появилось новое действующее лицо. Это была официантка из летной столовой Жанна, или, как в шутку называли ее на аэродроме за необычайно смуглый цвет лица, огромные круглые медные серьги и разбитной характер, «Дама Пик». Жанна вошла не сразу — через дверь в землянку сперва донесся ее возмущенный грудной голос: «Я тебя, паразита, научу, как с культурной женщиной обращаться!» — не иначе, Жанна отшивала кого-то из приставших к ней мужчин,— а войдя — в глазах у Жанны — ноченька темная, под кофтой — два мощных кучевых облака — начала с ходу, без предисловия, будто заведенная, только чуть сменив интонации:

— Ужин стынет, а им хоть бы хны. Вы что же, мальчики мои миленькие, сегодня натощак решили ложиться? Так имейте в виду: не каждой женщине это может понравиться,— и вдруг, заметив незнакомого белокурого красавца со шрамом на щеке, протянула с наивным простодушием: — Ой, да у вас никак новенький? А я, дуреха, и не разглядела,— и тут же по инерции сделала ему глазки.

— Плохо, выходит, глядишь,— подал от стола голос Доронин и одарил ее свирепым взглядом — за глазки, верно.

— Плохо? Ничего, Платоша, еще рассмотрю, успею. Я ведь зоркая, насквозь вижу,— мгновенно нашлась Жанна и, как бы следуя его совету, намеренно чинно прошлась перед Бурноволоковым и смело оглядела его с ног до головы.

— Ну и как? — заинтригованно спросил кто-то из летчиков, почуяв возможность позабавиться и хоть на время позабыть о распре в эскадрилье.

— Натурально витязь в тигровой шкуре,— серьезно и с вызовом, не дав расцвести глумливым улыбкам, ответила Жанна и уже, будто, кроме них, в землянке

больше никого не было,— Бурноволокову, робко, с девичьей стыдливостью, как бы намереваясь этим сокрушить неприступность штурмана: — Стихи, случаем, не пишете?

Бурноволоков недоуменно повел плечом.

— Нет, не пишу.

— Жаль. Может, попробуете? Между прочим, до войны у меня был один знакомый, тоже из военных, так стихи все писал. Про любовь. Возвышенно так. До слез. Может, все-таки попробуете?

— Чего пристала к человеку? Отвяжись! — опять, но уже не так злобно, осадил ее Доронин и, как бы извиняясь за нее перед штурманом, добавил с наигранной беззаботностью: — Вот репей-баба! Никому проходу не даст, за каждую штанину цепляется.

Как ни вульгарна, на первый взгляд, показалась Жанна Бурноволокову, а при последних словах Доронина и ее натура не смогла стерпеть такое: Жанна надменно — большие медные серьги сердито звякнули — откинула назад голову, зло изогнула левую бровь и, сузив, насколько это было возможно, свои огромные, широко поставленные черные глаза, отпарировала так, будто занозу под ноготь всадила:

— Ревнуешь, мой миленький? Боишься, как бы я его,— царственный жест в сторону Бурноволокова и новый звон серег,— невзначай не приголубила? Что ж, ревнуй, а то ведь и взаправду́ приголублю. Кавалер что надо,— и, не дожидаясь ответа, первой рассмеялась беззвучным, похожим на кашель, смешком, от которого Бурноволокову стало не по себе. В этот миг Жанна и впрямь напомнила знаменитую Даму Пик, и штурман, успев сообразить, что Доронин не иначе, как ходит у нее в любовниках, искренне его пожалел: отчаянна не в меру.

Сам же Доронин и бровью не повел, видно, понял, что Жанну сейчас голыми руками не возьмешь, что ее лучше пока не трогать, и, неуклюже встав из-за стола, лишь бросил мимоходом и как-то примирительно:

— Плетешь несуразное. Язык-то без костей.— Потом, после чрезмерно затянувшейся паузы, добавил вновь окрепшим голосом: — А ужин и в самом деле стынет. Пошли, ребята. А то кишка кишке кукиш кажет,— и, не сомневаясь, что летчики, как всегда, хлынут за ним сле-

дом, первым, точно вожак в гусином стаде, вперевалку двинул к выходу.

II

Хлопотать Доронину за Бурноволокова не пришлось. На другой день он и без того был зачислен к нему в экипаж. Заполучив такого бравого, по его мнению, штурмана,— всем, дескать, взял! — Доронин, с утра ходивший туча-тучей, снова повеселел, обрел прежнюю уверенность: на его широком, багровом от природы лице опять поселилась довольная улыбка, а во взгляде сухих, без блеска, глаз — то особое выражение, какое бывает у человека, знающего себе цену.

Доволен был и Бурноволоков. Ведь что бы там Клещевников вчера ни наговорил, Доронин был летчиком боевым, опытным, не меньше, а пожалуй, больше других понюхавшим пороху. Недаром его гимнастерку уже оттягивал «боевик» [1] и медаль «За отвагу», а висок рассекал рубец, оставшийся от встречи с «мессерами».

И все же радость штурмана была неполной. Хотя он не хотел признаться себе, ее как раз и омрачала эта вчерашняя стычка стрелка с летчиком. Правда, после, уже в столовой, во время ужина, непреклонная Дама Пик, узнав о стычке от Тамбовцева, помирила их, даже заставила выпить на брудершафт — кто старое, мол, помянет, тому глаз вон, однако Бурноволоков чувствовал, что настоящего примирения все же не произошло. Он видел, что стоило Доронину встретиться взглядом с Клещевниковым, как в глазах его появлялась отчужденность и холодность, словно их припорашивало снегом. Клещевников в таких случаях тоже как-то неуклюже улыбался и спешил отвернуться, либо уйти, чтобы не оставаться с летчиком наедине. В будущем, особенно в чужом небе, это, понятно, ничего хорошего экипажу не сулило, и Бурноволоков дал себе слово во что бы то ни стало помирить их окончательно, помирить до того, как они начнут ходить на боевые задания. Как человек новый, он, конечно, не мог, да, пожалуй, и не пытался разобраться, кто из них был прав, а кто виноват, хотя и понимал, что

---

[1] Орден Боевого Красного Знамени.

Клещевников говорил тогда искренне. Но ведь искренность — не всегда правда. К тому же говорил он все это сгоряча, под пьяную руку, значит, мог и ошибиться. Ну, показалось Степе, почудилось, так что из того? Во все колокола трезвонить? Правда, Константин Тамбовцев, бывший в тот вечер вместе с ними на ужине, тоже ругнул Доронина, что тот не послушал тогда Рудакова, скомандовавшего — стрелок слышал это по СПУ[1] — уходить от «мессеров» пикированием, потом на бреющем, а Доронина черт понес зачем-то вверх, на высоту, где их и подловили, но Доронин вполне резонно возразил:

— А внизу, когда мы еще туда шли, вторая группа «мессеров» ходила. Рудаков сам их видел. И Степа тоже. К тому же, заметь, это было под Алакурти. А там, сам знаешь, на каждом шагу зенитки. Вот я и потянул вверх, к облакам. Да только не успел малость,— добавил он с сожалением и так сдавил рукой столешницу, что едва не отломил от нее щепу.

Вот потому-то Бурноволоков и не спешил с выводами. Доронина же он просто-напросто жалел, как жалеют человека, случайно попавшего в неловкое положение. И все же глядеть на него стал куда более внимательнее, чем прежде. И кое-что открыл для себя. Еще на том же ужине, когда пили за примирение, его поразила в Доронине та холодная убежденность, даже жестокость, с какой он советовал Клещевникову, если тому, не дай бог, случится одному остаться на вражеской территории, поступить с оказавшимися на его пути людьми, будь то женщина или ребенок.

— Ты учти, Степа,— потея над бифштексом с луком, не спешно поучал он Клещевникова, а заодно, быть может, и Бурноволокова, благо он сидел тут же рядом и был бы дураком, если б не прислушивался к тому, что говорили бывалые летчики. — На войне так: или ты его, или он тебя. Середины нет. Вот, скажем, тебя сбили. Ну, парашют ты запрятал, следы, как говорится, замел и пробираешься к линии фронта, чтоб домой, значит, вернуться. На пути встречаешь хутор. А здесь, сам знаешь, одни хутора. Жрать тебе, конечно, охота, как из пушки. Не выдерживаешь, заходишь. В доме, к примеру,

[1] Самолетное переговорное устройство.

старуха древняя да мальчуган лет десяти-двенадцати. Конечно, если попросить или заставить, они тебя накормят, а может, и спать уложат. Да только не ложись. Если ляжешь, уснешь — считай, пропал. Ты — голову на подушку, а они тут же к полицаям либо шюцкоровцам[1]. И все, накроют тебя, как миленького. Это уж точно, такие случаи бывали. Проверено, в общем. Потому, как уходить будешь, того и другого в чулан либо в подпол, а на крышку сундук потяжелее. Чтоб не вылезли раньше времени. Да и связать не худо. Для надежности. Только без шума. А уж после уходи спокойненько.— И Доронин, поддев на вилку остатки бифштекса, стремительно отправил его в рот, яростно жевнул.

Едок Доронин был отменный, ел много и шумно, с завидным аппетитом, в один присест. Клещевников, с изумлением, как всегда, следивший за мощной работой его челюстей, видимо, еще не совсем поняв, что тот ему советует, сперва подождал, пока Доронин окончательно не расправился с едой, потом недоверчиво переспросил:

— Как? И старуху, и мальчугана? — и в ожидании ответа грудью налег на стол.

— Само собой, обоих,— невозмутимо подтвердил Доронин и, постучав вилкой по пустой тарелке, нетерпеливо поискал глазами Жанну, чтоб принесла добавки.

Он сидел тогда боком к Бурноволокову, и тот, несмотря на царивший в столовой полусумрак, отчетливо видел его прямой и гладкий, без единой морщины, лоб, небольшой, красивый, расширявшийся книзу, нос, чуть сдвинутый вперед тяжелый подбородок, выражавший скорее упрямство, чем силу воли, холодный блеск всегда сухих глаз — в профиль Доронин был симпатичнее — и понял, что он не шутил, что случись с ним такое, он поступил бы именно так, как советовал стрелку-радисту. А быть может, не постеснялся пустить в ход и оружие, будь на то надобность. Во всяком случае, такая мысль ворохнулась под черепом у штурмана, и он долго не мог от нее отделаться.

А на другой день Доронин поразил Бурноволокова уже тем, что безвозмездно предложил ему на приобретение финки с ножнами пятьсот целковых.

---

[1] Финские фашисты.

— Боевому штурману без финки никак нельзя,— безапелляционно заявил он.— Это не украшение, а оружие, и без него тебе хана, ежели собьют, скажем. А потом, я ведь знаю,— добавил он уже просительно, словно боясь, что штурман обидится,— из запасных полков с деньгами не приходят. Вот и бери мои. Не разоришь. Я ведь аттестат домой не посылаю: родители под немцами, жена тоже где-то в оккупации. Так что скопилось этого добра у меня порядочно. Да недавно еще за боевые вылеты чуток сгреб,— и, с дружеской плутоватостью подмигнув ему сразу обеими глазами, внушительно похлопал по заднему карману брюк, где у него хранился бумажник.

Однако финка у Бурноволокова нашлась своя, купил он ее, по случаю, еще в ЗАПе, и Доронин был этим явно обескуражен. Зато он вволюшку порадовался, когда тот без слов взял у него кожаную кобуру для пистолета, так как на складе у интендантов ее не нашлось. У Доронина же оказалась лишняя, валялась где-то на дне чемодана, так как свой «ТТ» [1] он носил не в обычной кобуре, а в ременной плетенке, иначе говоря, в «босоножке», что среди летчиков считалось особым шиком.

— Захочешь, и тебе такую же сделают,— пообещал он Бурноволокову, когда тот, глядясь в крохотное зеркальце, примерял, ладно ли на нем сидит эта обнова, не будет ли она бить по ягодице из-за чрезмерно длинных — тоже своего рода шик! — ремней.— Можешь хоть сегодня заказать,— вкрадчиво продолжал он, любуясь статной фигурой штурмана.— Человека я знаю. Солдат один из караульной роты. Сделает на совесть. И возьмет недорого.

— Пока не надо,— поблагодарил его Бурноволоков.— Похожу и с этой, а там видно будет,— и, отложив зеркальце в сторону, примеривающе прошелся по землянке.— Нормально, кажись?

— В самый раз,— охотно подтвердил Доронин, довольный, что его дар пришелся штурману впору.

Вот потому-то Бурноволоков, открывая раз за разом в Доронине все новые и такие разные черты, невесть как уживавшиеся в одном и том же человеке, с окончатель-

[1] Марка пистолета.

ным выводом не спешил, памятуя известную пословицу: семь раз отмерь, один раз отрежь. Окончательная оценка будет зависеть от того, как оба они — и Доронин и Клещевников — поведут себя там, в небе, каковы будут в «деле», и с нетерпением ждал первого боевого вылета.

Но лететь пришлось не скоро: над аэродромом все так же, день за днем, продолжали плыть низкие, взбаламученные ветром, рыхлые облака. Плыли они с «гнилого края», с северо-запада, как раз со стороны острых, как частокол, сопок, вспарывая о них наволглые, вислые животы и оставляя между сопок сиротливые блеклые клочья. Миновав сопки, облака смыкались, равняли строй и, будто в отместку сопкам, точили на аэродром мелкие, словно через сито просеянные слезы. Иногда, большей частью к вечеру, облака не на долго размывали серые полыньи, но желанная синева небес все равно не показывалась — над первым ярусом облаков, метров на шестьсот-восемьсот выше, плыл второй, уже не дряблый и рыхлый, а туго сбитый, с тщательно зализанными, отливающими синевой краями и подобранными животами.

Летчики все эти дни отсиживались либо на КП, либо в землянках, мочаля карты и до блеска полируя костяшками домино доски расшатанного стола. Но чтобы не засиделись вовсе, не позабыли, как говорил командир полка, дорогу на аэродром, время от времени их посылали на «матчасть», то есть на стоянку, помогать техникам поддерживать самолеты в боевом состоянии. Разумеется, это была чистейшая формальность, так как ни один уважающий себя техник никогда бы не согласился, чтобы его летчик или штурман притронулся, скажем, к гаечному ключу или, того хуже, испачкался в тавоте или масле. Такое в полку исключалось начисто. С летчиков довольно было одного: они ходили туда, откуда не всегда возвращаются. А матчасть — дело техников, сугубо наземное, и поэтому летчики отправлялись на стоянку, как на веселую и вовсе не обременительную прогулку.

Так было и на этот раз.

Побродив для вида вокруг машин, попинав сапогами шины колес, они уже через минуту-другую сгрудились за хвостом крайнего — подальше с глаз начальства — самолета и, подняв от дождя и ветра воротники шинелей и курток, закурили. После первых затяжек младший лейтенант Тамбовцев рассказал старенький, затасканный

анекдот — жиденько посмеялись, потом кто-то из стрелков-радистов, захлебываясь от восторга, поведал, как вчера вечером Дама Пик принародно съездила по «рождеству» одному интендантскому старшине, осмелившемуся позакладывать вокруг нее «глубокие виражи»,— хохотнули, а когда вскоре к летчикам подошли и наиболее сачковитые техники, вниманием всех уже безраздельно владел Бурноволоков. Щурясь не то от ветра, не то от дыма, знaя, что слушают его с томительным любопытством, он рассказывал неторопливо, чуточку в нос и помогая себе, как истый южанин, жестами:

— В запасном полку это было, в прошлом году. Зуб у меня там коренной разболелся, мочи нету. Ни спать, ни есть. Чего только не перепробовал: и соль, и перец, и табак, даже водочкой полоскание делал, ничего не помогло. Решил идти к врачу: уж он-то починит. Прихожу, очереди нету. Слава богу, думаю. И врач оказался таким приветливым, улыбчивым. Не врач, а мед. Правда, видок у него был не так, чтобы так, и не очень, чтобы очень. Рыжий к тому же, нос в конопатинах, будто мухи ночевали. Ну, усадил он меня вежливенько в кресло и так сердечно спрашивает: «Случаем, не из Ростова?» И замер в ожидании, вроде как собачью стойку сделал. «Эге, смекнул я, земляка ищет». Приятно, знаете, где-то за тридевять земель земляка встретить. Ну что ж, решил я, не буду его разочаровывать, сделаю ему приятное и ответил, тоже, конечно, сладенько и этак нараспев, как говорится, по-ростовски: «Из него самого, доктор, из Ростова-батюшки, с Дона». И жду, сейчас его от радости кондрашка хватит. А он, наоборот, вдруг как-то загадочно улыбнулся и строго говорит: «Ну-с, не будем терять времени, приступим. Что у вас там, где болит, какой зуб?» — и пасть мне своими ручищами буквально разодрал. «Слева, показываю, верхний, моченьки нету». «А, верхний? — переспрашивает. И снова: — Из Ростова, значит, с Дона?» «Угу»,— мычу я в ответ и силюсь улыбнуться. «Ну что ж, будем удалять»,— говорит он и снова как-то загадочно улыбается. «Валяйте, киваю, мне все равно, только чтоб не болело». Да на свою же голову.

— Что так? — полюбопытствовал Тамбовцев, сработав плечом.

— Потому что я белого света не взвидел, как он начал у меня во рту шуровать. Аж челюсть затрещала,—

со страдальческой гримасой ответил Бурноволоков.— А он еще удивляется, спрашивает: «Неужто больно?» И снова за щипцы. Я не выдержал, заорал. А он ровно не слышит, знай тянет, вот-вот всю челюсть с мясом выдерет. И приговаривает к тому же: «Из Ростова, значит, с Дона-батюшки? Так, так». Поверите, если из человека жилы тянут, и то не так больно будет. Думал, концы отдам, не выдержу. Рад бы деру дать, да он не пускает, держит крепко. «Сиди, мол, не рыпайся. А еще из Ростова. Нехорошо, землячок, нехорошо». И с полчаса так, не меньше. В общем, измотал он меня в этом кресле почти до потери сознания. Еле до казармы добрел. Помню, вхожу, шатаюсь, как пьяный. Ребята спрашивают: «Что с тобой?» Я рассказал. Они и давай хохотать: «Вот дурень-то, вот дурень». «Почему? — кричу я от обиды и злости.— Почему дурень?» Ну, отхохотались они и объясняют...

Но что они ему объяснили, Бурноволоков не досказал, так как возле соседнего самолета вдруг послышалась какая-то ругань. Движимый неясным беспокойством, он круто обернулся и увидел Доронина с Клещевниковым. Доронин, задрав голову, что-то кричал стрелку-радисту, видать, обидное, а тот, бледный и растерянный, свесившись через борт, пытался ему что-то объяснить и вроде приглашал в кабину. Потом, ненадолго пропав в самолете, уже в пилотке, Клещевников, позабыв о раненой руке, спрыгнул на землю, нервным движением запахнул куртку и спотыкающейся походкой припустил вдоль стоянки, в сторону КП. Оставшись один, Доронин с минуту распаленно глядел ему вслед; затем, увидев подходившего к нему быстрым шагом Бурноволокова, двинулся навстречу. Лицо и шея у него были красными, словно он только что выскочил из парной.

— Немецкое радио слушал наш Степа,— через силу дыша, возбужденно прохрипел он в ответ на недоуменно-встревоженный взгляд штурмана.— Притаился в кабине, включил рацию и слушает. Тихонечко так. Думал, я не замечу. Ведь ежели дознается особняк [1], тогда...— И Доронин, не договорив, точно снимая грех со своей души, смачно выругался.

---

[1] Особый отдел.

Все время, пока он говорил, Бурноволоков не проронил ни слова, даже не шевельнулся, и только после, когда тот выжидательно смолк, вдруг крепко ухватил его повыше локтя и, покосившись в сторону настороженно притихших летчиков, значительно спросил:

— Вы в этом уверены? Не ошиблись?

Бурноволоков, как и Доронин, знал, что слушание вражеских радиопередач в военное время было строжайше запрещено, что ослушника ждала суровая кара. Во всяком случае, если то, о чем сейчас говорил Доронин, подтвердится, летать Клещевникову больше не придется, крылышки ему подрежут наверняка. Скорее всего, спишут в аэродромную команду либо в пехоту, в штрафной батальон. Но только если подтвердится, если Доронин сможет доказать его вину. А вот этого-то, Бурноволоков был абсолютно уверен, он никогда не сможет сделать, даже если захочет. И по очень простой причине. Если Клещевников и в самом деле слушал вражеское радио, в чем Бурноволоков в общем-то крепко сомневался (не такой Клещевников, как он уже успел убедиться, парень, чтоб пойти на такую мерзость), то слушал не иначе, как надев на голову кожаный меховой шлемофон, и, следовательно, Доронин, хоть ухом к нему припади, никогда бы не только не разобрал, но и не услышал, что это была за передача — своя или чужая. А Доронина-то ведь и в кабине не было, он находился возле самолета, на земле, и потому вообще ничего не мог услышать, даже слабого писка или шороха, не то что слов. Выходит, как ни правдоподобным казалось его возмущение, самое большее он мог лишь заподозрить своего стрелка-радиста в столь тяжком грехе, заподозрить к тому же беспочвенно, без всяких на то оснований, если только его чрезмерную подозрительность не считать этим самым основанием. Что с того, что Клещевников включил рацию? На то он и радист, чтоб проверить, действует ли она. Он ведь за нее в ответе. И так, наверное, не один он делает. Потому его и винить не за что. Мало ли что Доронину могло показаться: не с той ноги, видно, встал, вот и померещилось. А о том, что Доронин, быть может, намеренно оговаривал своего стрелка-радиста с целью опорочить его перед однополчанами, что это, быть может, его, приуроченный к часу, выпад против Клещевникова в отместку за то, что он

доставил ему тогда, в тот — будь он неладен! — злополучный вечер столько неприятных минут, Бурноволоков даже подумать не отважился, хотя в самом начале нечто подобное и шевельнулось у него в душе, да он не дал ему ходу, сразу придавил к донышку. В общем, за то время, что Доронин тянул с ответом, ковыряя землю носком сапога, он уже успел прийти к выводу, что тот, ни больше ни меньше, ошибся в своем предположении, что все это ему почудилось, и он, как говорится, не заглянув в святцы, бухнул в колокол, нисколечко не подумав о том, чем все это, дай случаю огласку, могло кончиться для Клещевникова. И потому, чтобы одним махом уладить это дело, он еще раз в упор глянув в самые зрачки Доронина, снова, уже не без нажима, переспросил с неприкрытой горечью и сомнением:

— Уверены, товарищ лейтенант? Доказать можете?

Что-то похожее на испуг или раскаяние мелькнуло в глазах Доронина, а может, то просто ветер заставил его прикрыть их на миг, но для Бурноволокова этого было достаточно, чтобы тут же сказать окончательно и, на правах друга, беспощадно:

— Тебе это показалось, Платон? Да, да, показалось, не спорь. Тут и доказывать нечего. Я в этом убежден. Впрочем, как и ты. Признайся, ведь ты теперь и сам в это не веришь? И потому тебе мой совет: выкинь эту дурь из головы и сейчас же рули за Клещевниковым, пока он что-нибудь не отмочил. Извинись перед ним, скажи, что ошибся, мол, показалось, и помирись. Да только чистосердечно. Воевать-то вместе придется. Так иди же, не тяни резину,— и, даже не дав себе труда посмотреть, последует ли Доронин его совету, посчитав это дело улаженным, Бурноволоков необидно от него отвернулся и размеренно, словно боялся запачкать сапоги, зашагал обратно к летчикам, терпеливо дожидавшимся конца рассказа о необыкновенном зубодере.

Доронин же будто оцепенел, и в этом оцепенении, с недоуменно разведенными в стороны руками, как бы ищущими опоры, простоял с минуту. Ветер заносил полы его длинной, почти до пят, шинели за спину, мелкий осенний дождь обильно орошал его непокрытую голову, полоскал нос и щеки, а он, верно, не чувствовал этого, все стоял и оторопело глядел куда-то впереди себя, словно хотел и в то же время боялся там увидеть

что-то. Но вот веки его дрогнули, в горле что-то хрипнуло, и он, царапнув шрам на виске, загребая ногами землю, наконец, тронулся с места, как больной.

— Ну, так вот,— между тем, как ни в чем не бывало, продолжал свой рассказ Бурноволоков опять плотно обступившим его летчикам.— Ребята в эскадрилье мне и говорят: «Зачем же ты сказал врачу, что из Ростова? Ведь в Ростове у него на вокзале чемодан с барахлом сперли». «Причем здесь, к черту, чемодан? — снова ору я.— С ума вы посходили, что ли?» «А в том, объясняют они мне, что после этого слово Ростов для него, что в пятку ржавый гвоздь, а каждый ростовчанин — заклятый враг, хуже фашиста даже. Вот он и отыгрался на тебе, на ростовчанине липовом. Ты лучше погляди, тот ли еще он у тебя зуб удалил». И верно, пощупал я — больной на месте. Этот живоглот, оказывается, к нему даже не притронулся...

— Здоровый выдрал? — не сдержавшись, опередил рассказчика Тамбовцев и, винясь, зажал ладошкой рот.

— А то какой же? Здоровый и есть,— с простодушной улыбкой подтвердил тот уже под общий хохот летчиков и только после этого, будто невзначай, глянул в ту сторону, где оставил Доронина.

Доронина там не было.

Не оказалось его и в землянке, куда летчики возвратились уже перед обедом. Бурноволоков заметил только, что постель его была смята, хотя утром он заправил ее, как всегда, аккуратно. Зато под койкой обнаружил пустую бутылку. Она выкатилась оттуда, когда кто-то из летчиков чересчур сильно хлопнул дверью. «Пил»,— смекнул Бурноволоков и, пробежав взглядом по остальным койкам, заметил, что в землянке нет и Клещевникова, хотя куртка его, в которой он был на аэродроме, висела на вешалке у входа. Не зная, что подумать, он с озабоченным видом вышел из землянки и тут натолкнулся на Жанну. Жанна была в коротком, неплотно застегивавшемся из-за пышных грудей, плисовом жакете и, по случаю дождливой погоды, в сапогах на босую ногу. Рослая и гибкая, по своему грациозная, в темном кашемировом платке, завязанном под округлым подбородком бантом и придававшем ей печально-кроткий, как у монашки, вид, она показалась Бурноволокову на этот раз невпример обаятельной, и он впервые позавидовал

Доронину, что тот имеет такую видную, будто нарочно созданную для любовных утех, зазнобушку.

— А я к вам, товарищ лейтенант, хорошо, что встретила,— переведя дух, первой заговорила Жанна, и от ее низкого, грудного голоса, удивительно соответствовавшего всей ее ладной фигуре, кровь у Бурноволокова бросилась в голову.— Насчет Платоши я, Платона Доронина,— поправилась она и, запахнув жакет, добавила вдруг с непонятной для него холодностью.— У меня он, в землянке. Вместе с Клещевниковым. Опять мирятся да обнимаются, ровно того раза было мало.

На сердце у Бурноволокова отлегло.

«Дай бог, чтобы только на этот раз окончательно и бесповоротно»,— умиротворенно подумал он и, уже повеселевшим взглядом одарив неожиданно примолкнувшую женщину, необидно понукнул:

— Ну, и дальше? Вы, что ли, их помирили?

— Нет, сами. Я не вмешивалась,— неохотно уточнила Жанна, зябко передернув плечами.— Так что вы теперь знаете, где они, ежели что...

Последнюю фразу Жанна произнесла сдержанно, как бы досадуя на себя, и у Бурноволокова создалось впечатление, что она уже раскаивается в своей откровенности, словно бы стыдится за Доронина, и, чтобы успокоить ее, склонился над нею в шутливом полупоклоне, картинно взял под козырек и бодрым голосом заверил:

— Все будет в порядке, очаровательная, не извольте напрасно беспокоится. Прикрою с хвоста, как надо.

— Вот это по-нашему, по-авиационному,— тут же без паузы, сразу взяв его слова на веру, радостно воскликнула Жанна, и живой, беспокойный блеск снова осветил ее огромные, широко поставленные глаза, и от монашки, только что понуро стоявшей перед Бурноволоковым, следа не осталось. Перед ним снова была Дама Пик — бесшабашная и соблазнительная. Озорно тряхнув головой, эта Дама Пик добавила вдруг с вызывающей улыбкой: — Разрешаю поцеловать в щеку, лейтенант.

Бурноволоков выпрямил спину, недоуменно глянул на нее сверху вниз и, наконец, сообразив, что от него требуется, вдруг сделал постную мину и разочарованно протянул, хотя в глазах его плясали бесенята:

— В щеку? В щеку, свет очей моих, я только свою бабушку целую. А ей, заметьте, уже под семьдесят.

— Тогда целуйте в губы,— хохотнув, разрешила Жанна.— Только быстрее, не то раздумаю,— и, прикрыв глаза, первой потянулась ему навстречу, запрокидывая голову.

III

Сначала он увидел, как над КП, ужалив небо, взвилась зеленая ракета. И уж после, когда, скинув с себя огненную чешую, обессилев, ракета стала гаснуть, услышал звук выстрела.

— По самолетам!

Вот и дождался Иван Бурноволоков этой короткой, обжигающей мозг, команды. И хотя давно готовился к этому, звук выстрела горячей волной — будто шлюз прорвало — опалил ему душу, толкнул кровь к вискам. Однако окурок, пущенный им тут же, еще ракета не погасла, в противопожарную бочку с водой — семь шагов, не меньше! — достиг цели точно, стрельнул синеватым дымком как раз по центру. И карабины парашюта клацнули челюстями в его руках только однажды, без осечки, сразу сцепились намертво. Потом доверчиво и покорно пискнула выдвижная лесенка в люке — рывок, и штурман легко, хотя и был в широком, на вате, демисезонном комбинезоне, перехваченном подвесной системой, закинул свое тело в кабину. Оправив парашют, он уверенно опустился на свое сиденье, по правую руку от Доронина, и, отыскав глазами фишку, подключился к СПУ.

В кабине было тесно, но уютно, и пахло тем особым, присущим лишь авиации, запахом, который, верно, исходил и от только что прогретых моторов, и от опробованных пулеметов, и от всегда проливаемых на стоянках бензина и масла, и, быть может, от самих летчиков, занесших сюда, в эту плексигласово-металлическую коробку, осеннюю сырость земли и еле уловимый, настоенный на скором увядании, лесной дух.

Пока Бурноволоков ревниво оглядывал свой цех, все эти рычаги, секторы, тумблеры, вентили и кнопки, все это громоздкое аэронавигационное хозяйство плюс бомбардировочно-стрелковое вооружение, что было хитроумно втиснуто в небольшое пространство, Доронин запустил моторы, и по вытянутому телу самолета пошла

легкая зыбь, приборная доска заиграла сигнальными лампочками и веселым переплясом подсиненных фосфором стрелок, пол в кабине запританцовывал, в наушниках шлемофона защелкали маленькие, приятно покалывающие кожу, молнии. И штурман, нервы которого все это время были напряжены до предела, мышцы сжаты в комок, вдруг почувствовал, что именно это несильное биение винтов, эта легкая, почти баюкающая дрожь самолета, эта незатейливая пляска стрелок на циферблатах приборов подействовали на него успокаивающе, вернули то равновесие, которое так необходимо перед вылетом. Он услышал, как сердце его, еще недавно сжимавшееся от тревожных предчувствий, забилось ровно и четко, уверенно отстукивая один удар за другим. Разомкнув губы в скупой улыбке, он поднял голову и огляделся.

Отсюда, из кабины, ему был хорошо виден почти весь аэродром с его порыжевшей, примятой недавними дождями и ветрами, травой, с песчаными рулежными дорожками, стоянками соседних эскадрилий. На взлетной полосе травы было меньше — ее повыдували тугие струи винтов, повдавливали колеса самолетов, и поэтому она казалась такой же прилизанно гладкой и голой, как и сопки, что подковой огибали аэродром слева от него. Справа же сопок не было, там ровной длинной грядой тянулся настороженно притихший сосновый лес. И хотя до него было далеко, Бурноволоков хорошо видел на фоне неба его четкие очертания, различал даже острые верхушки невесть как затесавшихся в сосняк отдельных елей и пихт, отсюда почти не разнящихся по цвету. Редкое и неласковое в этих краях осеннее солнце на этот раз непомерно расщедрилось, густо обливало неровным золотистым светом и этот нелюдимый лес, и закурившиеся сопки, и взлетную, добросовестно наводило глянец на крыльях и колпаках кабин самолетов, высовывавшихся из капониров справа и слева по опушке. Небо над аэродромом было почти чистым, безмятежным, только со стороны сопок, взяв оттуда старт, сюда держала курс небольшая стайка ослепительно белых, как бы взбитых на молоке, облаков. Облака были кучевые, видать, местной закваски, с ровными округлыми вершинами и чуточку приплюснутыми основаниями. Лишь у первого спина

вздувалась пузырем и низ был скошен, словно его подсекло крыло самолета.

За этими облаками могли последовать другие, уже более мощные, и Бурноволоков, тронув за колено Доронина, взглядом заставил его посмотреть туда же. Тот понял беспокойство штурмана, но ничего не ответил, так как на тропинке, ведущей на стоянку от КП, показался командир их эскадрильи капитан Курганский. Бурноволоков знал Курганского мало, почти ни разу толком с ним не поговорил, но успел почувствовать: летчик по всем статьям, авиация как раз на таких и держится. В своем неизменном потертом реглане, с планшетом через плечо, командир шел быстро, занося, как на параде, левую руку назад, а правую держа в кармане, высоко подняв голову в новенькой, сшитой, верно, по заказу фуражке, и, как всегда, вопросительно улыбался. Техники и мотористы, толпившиеся у своих машин, при виде его тоже как-то подбирались, круто выгибали груди и руки к козырькам вскидывали четко, строго по уставному, и с видимым удовольствием.

Командир принес новый приказ: вылет эскадрильи на бомбежку вражеского аэродрома откладывается, так как обстановка в районе цели пока не ясна. Ходившие же туда на разведку два истребителя из соседнего полка вернулись ни с чем: у ведущего упало в моторе давление масла, и они повернули назад.

— Разведку произведем сами,— нахмурив высокий, наполовину затененный козырьком фуражки лоб, пояснил командир и раздумчиво постучал пальцем по планшету как раз в том месте, где располагался этот аэродром. Палец у него был тонкий и белый, с неровно обкусанным ногтем, и когда он убрал его с планшета, на плексигласе осталась царапинка. Потом, вскинув чуть обеспокоенный взгляд поверх капониров и ничего там не увидев, кроме чистого, омытого солнцем, неба, он повел его наискось влево и, будто невзначай, задержал на Бурноволокове, настороженно высунувшемся из открытой форточки кабины и силившемся угадать, на ком командир остановит свой выбор. В те считанные встречи, когда Бурноволоков видел Курганского, тот обычно взглядывал на него с какой-то необидной насмешливостью, словно говорил: «Придет время, и ты еще себя покажешь, я в это верю», и Бурноволоков под этим взглядом

действительно чувствовал себя способным на все и даже вырастал в своих собственных глазах. На этот же раз во взгляде командира этой подбадривающей насмешливости не было. Была только озабоченность и нерешительность: он, видно, все еще колебался, какой экипаж послать на задание. Но через мгновенье Бурноволоков, все так же не спускавший с него суженных напряженным ожиданием глаз, вдруг почувствовал, что через секунду-другую командир пожует, по привычке, губами и назовет его имя. И верно, шевельнув уголками губ и еще раз постучав по планшету согнутым пальцем, Курганский громко, чтоб услышали все на стоянке, повеселевшим голосом произнес:

— Пойдете вы. Да, да, вы и Доронин. Получите указания у штурмана эскадрильи, товарищ лейтенант!

Когда самолет делал над аэродромом «большую коробочку» — чтобы успеть до линии фронта набрать четыре тысячи пятьсот метров высоты,— Бурноволоков снова увидел ту стаю облаков, что катила от сопок, только уже сверху, под собой. Отсюда, сверху, они показались ему пышнее и наряднее, чем с земли, но плыли они теперь не кучно, а порознь, каждое само по себе, поломав строй, как плохо слетанная эскадрилья или рота новобранцев. Лишь два из них, мощных, полногрудых, с заломленными набекрень золотисто-белыми шапками, держась особняком, шли рядышком, почти под руку, не иначе как молодец с молодушкой, и величаво-торжественно, словно под венец. Солнце золотило на них горностаевые мантии, ветер услужливо перебирал белокурые кудри, и они, будто хмелея от этого, еще круче расправляли плечи, словно норовя занять все небо, и, позабыв обо всем на свете, все дальше и дальше уходили от своих тащившихся позади собратьев. Лишь один раз чело их омрачилось. Бурноволоков догадался: на облака темным крестом упала тень их самолета. Через мгновенье же они снова ослепительно сияли богатством своих нарядов.

А когда, сличив карту с местностью и сверив курс — высотомер уже показывал две тысячи метров,— Бурноволоков опять поглядел в их сторону, эти дружные облака друг от друга были уже далеко и казались теперь не пышными и нарядными, а, наоборот, сиротливо-жалкими,

одинокими, словно за это время их изрядно потрепал ветер и похлестал дождь.

Бурноволоков проводил их погрустневшим взглядом и опять занялся своим делом.

Набрав безопасную высоту, Доронин перевел машину в горизонтальное положение, затяжелил винты и, надев на себя кислородную маску, отчего стал сам на себя не похож, посоветовал то же самое сделать и штурману.

— А то линия фронта скоро,— добавил он, вкладывая в эти слова особый смысл, и штурман в ответ понимающе кивнул головой.

По рассказам он знал, что Доронин, как и большинство летчиков, рот в боевом вылете предпочитал не раскрывать, больше обходился жестами — разговоры не только отвлекали, но и утомляли,— но на этот раз он явно делал исключение. И, верно, потому, что штурман в экипаже был новый, необстрелянный, а может, он просто выказывал ему особое расположение или даже чуточку заигрывал, помня об истории с Клещевниковым. Уже после первого разворота, когда в плексигласовом полу кабины показалась сплюснутая крыша землянки с падавшей на нее тенью от соседней ели, он ткнул туда пальцем и пояснил, благожелательно косясь на штурмана:

— Жилье наше. А дальше вон, через полянку, столовая. Узнаешь?

— Узнаю.

Потом он показал ему на озеро, удивительно похожее с высоты на рыбий плавник, спиной которому служил черный треугольник горелого леса.

— Летом я туда рыбачить ходил. Видишь?

— Вижу,— опять коротко ответил штурман, тоже не очень-то любивший разговаривать в воздухе. Но предупредительность летчика, его ненавязчивое опекунство, в котором он, в общем-то, не нуждался, оценил по достоинству: когда вскоре Доронину, не спускавшему глаз с приборов и горизонта, потребовался планшет с картой — он начал слепо шарить справа от себя затянутой в перчатку рукой,— Бурноволоков быстренько отыскал его и положил ему на колени.

А вот с Клещевниковым Доронин пока не обмолвился ни словом. Да в этом, верно, и не было необходимости.

Тот знал свое дело туго, летал чуть ли не с первого дня войны и уже имел на своем счету два сбитых «мессершмитта». Так что если б у него что случилось или потребовалась помощь, он давно бы дал знать.

Правда, на земле, перед вылетом, разговор у них состоялся. И довольно острый. Хотя рана у Клещевникова была не опасной, больше смахивала на царапину, Доронин, как и командир эскадрильи, все же побаивался, что в боевом вылете она может стать помехой. Он так прямо об этом ему и заявил. Заподозрив, что это лишь предлог, чтобы свести с ним счеты, Клещевников, трезвым на рожон не лезший, на этот раз не стерпел. Нервно притушив окурок пальцами и вытерев их о комбинезон, он поднял на Доронина изменившийся взгляд своих серых, всегда чуточку печальных глаз и, намеренно игнорируя присутствие на КП командира эскадрильи, за поддержкой к которому мог бы обратиться, с дрожью в голосе произнес:

— Значит, отстраняете меня от полетов, товарищ лейтенант, списываете, как говорится, за борт? Не нужен, выходит, стал сержант Клещевников? Другого нашли? — И, не сразу отыскав глазами выход, уже прицелился было демонстративно хлопнуть дверью, как Доронин, загородив ему всем туловищем дорогу, вдруг рявкнул на всю землянку:

— Дисциплинку забыли? Стоять как положено, когда с вами старший по званию разговаривает! — И, тут же помягчев, скинув с себя служебную строгость, почти насильно загнал Клещевникова подальше в угол и, искоса взглядывая на комэска, невозмутимо, даже, казалось, с безразличием следившего за этой сценой, горячо зашептал в самые уши: — Ты пойми, Степа, не на блины к теще идем, а на боевое задание. У тебя ж рука. Ну, с березинским ты, скажем, сладишь. Дело не хитрое. А со шкасом? [1] Тебе ж его с борта на борт не перебросить. К тому же штурман у нас новый, не воевал. Срежут ведь за милую душу, ежели что...

Тон, которым Доронин все это высказал, был искренним, не поверить ему было трудно, и Клещевников, мгновенно отойдя сердцем, пристыженно опустил глаза.

— Ладно еще зенитки,— продолжал тем же тоном

[1] Марки пулеметов.

Доронин, но уже громче, с явным расчетом на то, чтоб услышал и командир эскадрильи,— тут как-нибудь вывернемся. Не впервой. Со шкасом возиться не придется. А вот «мессера» начнут клевать, тогда только поспевай поворачиваться. А у тебя рана откроется. Как тут? Так что, Степа, лучше повременить.

— А кого вместо меня возьмете? — оторвав, наконец, глаза от пола, все еще с дрожью в голосе спросил Клещевников.

— Кого командир даст,— уклончиво развел плечами Доронин и, повернувшись к Курганскому, добавил искательно: — Тот же Хорьков может полететь...

Хорьков, или, как его чаще называли на аэродроме, Хорь, до этого летал в экипаже лейтенанта Кушнарева, и злые языки на аэродроме поговаривали, что это он проморгал «мессеров», навалившихся на самолет с хвоста уже над нашей территорией, что когда Хорь схватился за пулемет, было уже поздно — самолет горел. Хорю одному из экипажа каким-то чудом удалось выброситься на парашюте, и с тех пор он уже больше месяца ходил в «безлошадных». Клещевников терпеть не мог этого настырного стрелка-радиста, не очень-то верил в его храбрость и, услышав сейчас его имя, решительно тряхнул своей большой, не по плечам, головой и негромко, но с внутренним напряжением произнес:

— Лететь надо мне, а Хорь пусть лучше посидит в своей норе. Только так. Рука же у меня, если на то пошло, здоровая. Вчера в санчасти даже повязку сняли. Смотрите, если не верите,— и, засучив рукав комбинезона, обнажил левую руку почти до плеча.

Рука и точно была как рука, только чуть повыше локтя розовел небольшой шрам. Оглядев этот шрам и справа и слева, даже пощупав его легонько, Доронин затем сконфуженно обернулся к командиру эскадрильи, как бы признаваясь, что зря он здесь закатил такую речь, дело-то, оказывается, выеденного яйца не стоит, и командир, угадав эти его мысли, устало улыбнулся и негромко проговорил:

— Да, правильно, лейтенант, пусть летит.

И вот сейчас, время от времени оборачиваясь назад, Бурноволоков видел за ветровым козырьком «Ф-3» [1]

---

[1] Кабина стрелка-радиста.

плотно затянутую в шлемофон крупную голову Клещевникова, его сутулившиеся, будто там, в открытой кабине, ему было неуютно, узкие плечи с белыми полосами парашютных лямок, и на душе его становилось покойнее.

К линии фронта самолет подходил со стороны пустынного, вклинившегося далеко в озеро, полуострова. Бурноволоков знал, что здесь не было ни постов ВНОС[1], ни зениток, только несколько затерявшихся в лесу хуторов, и все же когда он впервые увидел впереди по курсу этот неуютный, окутанный дымкой массив вражеской территории, его дремучие леса, топкие, без единого деревца болота, пепельно-серый, сбегающий к воде песчаный мыс, который на его полетной карте имел собственное наименование — Лисий Нос, что-то похожее на озноб пробежало у него под рубашкой и заставило умерить бой сердца.

Так вот она, эта таинственная, много раз рисовавшаяся в его воображении линия, что делила землю и небо на два разных мира, вот она — и Бурноволоков, привстав с сиденья, устремил на эту затаившуюся угрюмую землю по мальчишечьи тревожно-любопытный взор.

Далеко внизу, как раз над мысом, он разглядел сперва кучку робко жавшихся друг к другу серых облаков, пятнавших своими тенями единственный здесь светлый фон, а там, где кончались болота,— ряд каких-то строений и нитки белого, стлавшегося в сторону болот, дыма.

«Хутор, верно, жилье,— заполошно, с ознобным восторгом подумал он.— А может белофинны, шюцкоровцы?» — и, сведя брови к переносице, попробовал представить себе их, этих шюцкоровцев — в касках, в тяжелых кованых сапогах, со свастикой — и не мог: война еще не вошла в его кровь и плоть. А больше взору зацепиться здесь было не за что, разве вон еще за тот безлюдный, изрытый снарядами откос, на котором темнела одинокая, когда-то, видать, выброшенная крутой волной, теперь никому ненужная, баржа. А ту линию фронта, не условную, а настоящую, с ее обычными траншеями, ходами сообщения, с колючей проволокой и минными полями, Бурноволоков отсюда видеть вообще

---

[1] Воздушное наблюдение, оповещение, связь.

не мог; она осталась в стороне, находилась сейчас от них где-то справа по борту, на юго-востоке, так как, чтобы обеспечить внезапность появления в тылу противника, они долго шли над огромным, как море, густо-серым, зарябленным ветром, озером, западного берега которого не было видно даже с пяти тысяч метров.

Зато вражеский аэродром, который им предстояло разведать, он увидел еще издали, километров за тридцать. Он только что нанес на карту условные пометки и собирался отложить планшет в сторону, как аэродром, зажатый лесом, словно обручем, вдруг вызывающе блеснул бетонкой взлетной полосы, и с этой секунды уже не переставал маячить перед глазами, каждое мгновенье напоминая о себе, даже когда штурман, занятый другими делами, на какое-то время отрывал от него взгляд.

Магическую силу аэродрома, верно, почувствовал и Доронин. Увидев его вслед за штурманом, он тоже как-то судорожно, будто его начали стеснять привязные ремни, двинул плечом и, не поворачивая головы, обеспокоенно произнес чуть изменившимся голосом:

— Он, кажись?

— Он самый.

— Когда снизимся, не забудь включить фотоаппарат,— и, чуть громче, уже Клещевникову: — Как в хвосте, Степа?

— Чисто,— вместе с резким щелчком послышалось в наушниках шлемофона.

«Нервничает»,— решил Бурноволоков и, уже более придирчиво оглядев заднюю верхнюю полусферу — его зона,— опять нацелился на приковывавшую взор бетонку острым взглядом. На миг ему показалось, что бетонка вдруг пропала, словно окунулась в клубившуюся волнами далекую синеву леса, и тут же появилась снова, только переменила цвет, из белой стала розоватой, как разрезанный надвое недозрелый арбуз. А вот приблизиться, доверчиво распластаться под самолетом она явно не спешила, только дразнила его, играла с ним в прятки, и у штурмана, с возрастающим беспокойством следившего за этой игрой, невольно принявшего в ней участие, вскоре создалось впечатление, что самолет так никогда и не подойдет к этому распроклятому бетону, с которого в каждый миг могли взлететь истребители

противника, будет вечно висеть у него на виду над этим вот, вытянувшимся кишкой, озером с островком посредине, висеть одиноким и беспомощным, точно живая мишень, пока какой-нибудь настырный «мессер» или «фоккер» не зайдет ему в хвост и не всадит парочку сочных очередей. Это ощущение усилилось, когда аэродром через минуту снова сменил цвет и по нему, вперемежку с бликами, точно бы задвигались какие-то неясные серые тени, заклубилась пыль, и Бурноволоков, оборвав вздох, не удержался, чтобы не метнуть нервный взгляд на указатель скорости, косо ломающий циферблатом солнечный луч. Но и стрелки, застывшие на пределе, не успокоили его, и он, как бы не поверив собственному зрению, перевел горячечный взгляд уже на моторы — сперва на правый, потом — на левый. Моторы гудели ровно и слитно, на одной волне, винты по-прежнему усердно молотили воздух, вычерчивая лопастями прозрачные дрожащие круги, и тогда он понял: это страх. И он, этот страх, быть может, еще долго студил ему кровь и кипятил воображенье, если б вскоре в наушниках шлемофона, как укор, не раздался спокойный голос Доронина:

— Пора, Иван, снижаемся.

Бурноволоков мгновенно отрезвел и, царапнув плечом турель, ответил поспешно:

— Да, пора.— И, как бы защищая глаза от солнца, круговым движением поднес руку ко лбу и незаметно смахнул с него пот.

IV

Почти у каждой половицы был свой голос, и когда командир эскадрильи, в раздумье меряя из угла в угол штабную землянку, наступал на ту, что издавала какой-то, не похожий на другие, звук, он резко вскидывал голову и устремлял нетерпеливый взгляд на сутулившегося над телефонным аппаратом бритоголового сержанта в темно-синей, довоенного образца, гимнастерке с голубым кантом.

«Ну как? — означал этот его взгляд.— Ничего нет?»

В ответ сержант только круче сутулил плечи и, до синевы надувая гладко выбритые щеки, принимался изо всех сил дуть в молчавшую трубку, что, по его мнению,

должно было означать: «пока ничего, но я, как видите, стараюсь», и командир, сцепив руки за спиной, снова начинал молча вышагивать по землянке, пока случайно опять не наступал на вздыхавшую половицу.

Остановив свой выбор на экипаже Доронина с Бурноволоковым, командир справедливо полагал, что этот вылет для молодого, еще не обстрелянного штурмана, в котором он больше, чем при полете всей эскадрильей, где даже бомбят «по-флагману» [1], мог проявить самостоятельности и находчивости, как раз и явится для него своеобразным испытанием, без которого не может быть настоящего воздушного бойца. Так на это посмотрели и остальные летчики эскадрильи, так это расценил и технический состав, и когда самолет Доронина, басовито гудя, с набором высоты ушел в чужое осеннее небо, каждый на аэродроме, мысленно пожелав ему «ни пуха ни пера», начал преспокойно заниматься своим делом, и по привычке, а вовсе не из-за опасения иль страха, изредка поглядывать в сторону курившихся сопок и прислушиваться вполуха — не возвращается ли экипаж обратно. Но когда связь с самолетом, уже благополучно, как все знали из поступавших с его борта радиограмм, выполнившем задание и повернувшем домой, вдруг оборвалась и вот уже целых тридцать минут было неизвестно, что с ним, в души людей закралось беспокойство, и как-то само собой обычная беготня на аэродроме враз прекратилась, громкие голоса смолкли и наступила та настороженно-звонкая, почти ощутимая физически тишина, при которой не только случайно оброненный молоток на металлическую обшивку крыла или капот мотора, но и скрип гаечного ключа в неумелых руках моториста мог легко вызвать раздражение, послужить причиной нервной вспышки и даже ссоры.

Вот и командир эскадрильи, опасаясь, что с экипажем Доронина не совсем ладно, он, верно, попал в беду, вышагивал сейчас угрюмо по землянке, начиная все более неприязненно взглядывать на бритоголового сержанта, излишне подчиненно, прямо-таки коромыслом гнувшегося над молчавшим, как рыба, телефонным аппаратом. Командира раздражала и его нелепая манера виновато сутулить плечи и без устали упражнять легкие — дуть

---

[1] По команде с флагманского самолета.

в трубку, когда он обращался к нему с немым вопросом. Так прошло еще несколько минут, и вдруг сержант, дернувшись над телефоном и какое-то время подержав для верности трубку возле уха, с многозначительным видом протянул ее командиру, а пока тот, тесня морщины на лбу, с кем-то разговаривал, не сводил с него мучительно-любопытного взгляда, так как, к его удивлению, звонили не с радиостанции, пытавшейся установить связь с пропавшей «пешкой», а из штаба полка. Когда же телефонный разговор был окончен, командир, видно, поняв это необычное состояние сержанта, безжалостно удовлетворил его любопытство одним словом:

— Сбили.

Оказалось, что самолет Доронина с Бурноволоковым на обратном пути подожгли не то «мессера», не то зенитки, и он, с трудом перетянув на глазах у наших пехотинцев линию фронта, упал горящим в небольшое озерко невдалеке от аэродрома и что минуты за три до этого из него выбросился на парашюте один из летчиков, но кто именно и достиг ли он благополучно земли, оставалось неясным. Неясной пока была также судьба остальных двух членов экипажа — то ли они выпрыгнули раньше, еще над территорией противника, то ли были убиты в воздухе и упали вместе с горящим самолетом.

До конца все прояснилось лишь когда через час с небольшим к штабной землянке эскадрильи подкатила старенькая закомуфлированная «эмка», и из нее, едва она скрипнула тормозами, не по летам молодцевато выскочил улыбчивый пехотный капитан. Назвавшись адъютантом командира полка, в расположение которого упала горящая «пешка» и приземлился парашютист, он привычно-церемонным движением распахнул дверцу второй кабины — и все увидели там настороженно улыбающегося и в то же время вроде бы удивленного таким многолюдием (а любопытных действительно набралось много) Платона Доронина.

— Принимайте вашего сокола. В целости и сохранности,— точно бы представляя совершенно незнакомого человека, провозгласил между тем капитан, видимо, явно довольный выпавшей на его долю миссией.— Расписки не надо,— сострил он напоследок и, лихо откозыряв, тут же укатил обратно.

Доронин выглядел внешне спокойным, разве только чуточку усталым, и если б не порванный в нескольких местах комбинезон да сучковатая березовая палка, на которую он оперся, когда вылезал из автомобиля, никто бы не подумал, что всего лишь как два часа тому назад он побывал в таком пекле, что и представить трудно. Даже голос у него не изменился, остался таким же басовито-густым, с солидной хрипотцой, как всегда, и однополчане, сумевшие все это приметить с лету, немало тому подивились. Но когда Доронин стал рассказывать, как было дело, плечи его вдруг безвольно опустились, твердость в голосе постепенно пропала, а к концу рассказа он вовсе сдал, словно язык у него распух и он насилу им ворочал, и все поняли, что это, в конце концов, дало себя знать нервное напряжение.

Дело же, как рассказал Доронин, произошло так.

Минут через пять после отхода от цели их атаковала пара «мессершмиттов», но на первых порах неудачно — одного из них тут же сбил Клещевников. Но второй поворачивать назад не подумал, оказался въедливым, и время от времени продолжал их атаковать. В одной из таких атак Клещевников был убит. «Пешку» же «мессер» поджег уже перед самой линией фронта, и как только им удалось ее перетянуть, Доронин подал Бурноволокову команду прыгать. Правда, купола его парашюта он под собой не видел, хотя покинул самолет за ним вскоре, самое большее — через минуту, так как все еще пытался сбить пламя. Могло случиться, что Бурноволоков намеренно не спешил открывать парашют, чтобы не привлечь к себе внимание «мессершмитта», дернул за кольцо лишь у самой земли, а может парашют у него не раскрылся вовсе.

Когда Доронин высказывал это свое предположение, голос его осекся, лицо пошло пятнами, и он угнетенно замолчал. Молчали и остальные, что поднабились в землянку, не понукали. Лишь командир эскадрильи, воспользовавшись паузой, дал знак телефонисту соединить его с командиром полка, а пока тот усердно крутил свою «шарманку», попросил Доронина показать на карте то место, где примерно Бурноволоков покинул самолет. Доронин, верно, не сразу понял его и какое-то время продолжал сидеть молча, тупо глядя куда-то себе под ноги, а когда командир повторил вопрос и протянул ему

планшет с картой (своего у Доронина не оказалось, видимо, оставил впопыхах в горящем самолете), долго не мог его отыскать.

— Вот здесь,— наконец, не совсем уверенно произнес он, задержав палец чуть в стороне от озерка, в который упал горящий самолет, и, вернув планшет обратно, снова безвольно опустил голову и надолго примолк.

Младший лейтенант Тамбовцев, сидевший с ним рядом, заметил: когда Доронин путешествовал своей огромной ручищей по десятиверстке[1], пальцы его лихо отбивали чечетку. «Что ж, не с прогулки вернулся,— мысленно пожалел он его.— В таком разе не то что пальцы, скелет запляшет»,— и, выждав момент, искательно ему улыбнулся.

Между тем телефонист дозвонился до штаба полка, и командир, доложив о рассказе Доронина, попросил послать в район вероятного приземления Бурноволокова пару связных «По-2».

— С воздуха они его по парашюту быстро отыщут, раз пехота проморгала. Да, да, я сам удивляюсь, что проморгала,— добавил он несколько озадаченно и, вернув трубку телефонисту, молча указал собравшимся на дверь, хмуро присовокупив:

— Боевого вылета сегодня не будет.

Немного нашлось в эскадрилье летчиков, которых бы не потянуло собственными глазами посмотреть на место падения самолета своего товарища, а заодно, быть может, и отыскать что-нибудь, что могло остаться от несчастного Клещевникова. Доронин тоже было засобирался вместе со всеми, но командир эскадрильи предупредил его, что он, пожалуй, еще может понадобиться командиру полка или даже самому комдиву, и он, заметно приуныв, остался. Но вместо того, чтобы, как ему посоветовали друзья, прилечь и отдохнуть после такого потрясения, долго сидел на своей жесткой койке и, безучастный ко всему на свете, курил одну папиросу за другой, не чувствуя вкуса, пока вкатившаяся в землянку Жанна не оросила его с головы до ног счастливыми

---

[1] Полетная карта.

слезами и не утащила в свой закуток, где у нее был припасен шкалик водки.

Посмотреть, что стало с самолетом, пошел мучимый тревожным любопытством и младший лейтенант Тамбовцев, только чуть позже других — летчика донимала изжога, и он с КП сперва забежал в санчасть за содой, да там нарвался на убитую горем Настасьюшку, которая принародно повисла у него на шее и разразилась плачем, а чуть пришла в себя, самым решительным образом потребовала подробностей гибели своего суженого, хотя Тамбовцев знал о них не больше, чем она. Кое-как ее утешив, он притопал к озеру, когда ребята из эскадрильи уже были там.

Самолет упал в озеро буквально в четырех-пяти метрах от берега и на этом месте, поднятый со дна взрывом, образовался крохотный, пузырем вздувшийся над водой, илистый островок, а точнее — бугор из жидкой грязи, который летчики, в надежде что-нибудь извлечь оттуда, не решаясь студиться в холодной воде, прямо с берега уже прощупывали, кто жердями, а кто длинными, как удилища, палками, специально срезанными в соседнем ольшаннике. Если б не их военная форма и не угрюмо-сосредоточенные лица, со стороны могло показаться: берег заполонили рыбаки, чтобы выбрать из невода очередной улов. Не хватало только лодок и кружившихся в таких случаях, в надежде на легкую поживу, чаек.

Едва Тамбовцев приблизился к этому роковому месту, как кто-то из летчиков, наиболее усердно орудовавших шестом, вдруг вскрикнул с радостным испугом:

— Сапог, братцы! Ей-богу, сапог!

Тамбовцев подозрительно, словно его разыгрывали, скосил на крик сверкнувший белком глаз и тут же увидел извлеченную из воды на прибрежный песок по колено оторванную ногу в кирзовом сапоге небольшого размера. Из голенища сапога стекала грязь, выглядывало черное ушко.

«Клещевникова нога. Правая»,— застрадав глазами, безошибочно определил Тамбовцев и, вдруг почуяв, что от этого зрелища его ненароком может вывернуть наизнанку, резко повернул назад, обратно к ольшаннику, чтоб чуточку прийти в себя, а заодно срезать шест: не отставать же ему от однополчан в этом невеселом заня-

тии. За спиной услышал, как кто-то, судя по солидному простуженному голосу, из пожилых техников, проговорил со скорбным удовлетворением:

— Ну, теперь хоть будет что в гроб положить, похороним Клещевникова чин-чином, по-человечески. А то в прошлый раз как было? Человека сбили, надо хоронить, а земле предавать нечего.

«Да, нечего,— мысленно согласился с ним Тамбовцев, бредя в ольшанник.— Так уж у нас, летчиков, на роду написано. Не в постели умираем».

В ольшаннике, сбегавшем в лог, было тихо и сумрачно, пахло мохом и влажной еще от недавних дождей землей, и он, чтобы хоть на минуту оттянуть возвращение на берег, стараясь не глядеть в сторону этого проклятого озера, ставшего могилой его боевому товарищу, долго и придирчиво, словно навек, выбирал себе деревцо для шеста. Одно казалось ему чересчур толстым, второе — тонким, а когда он наконец выбрал то, что искал,— это была прямая и длинная, с причудливым наконечником жердь, походившая на острогу или рогатину,— его однополчане успели вытащить из воды на берег новую находку — один из кислородных баллонов, когда-то находившихся в кабине стрелка-радиста, и, посчитав, что этого вполне достаточно, дальнейшие поиски решили прекратить. Побросав немудреные орудия лова где попало, они отошли подальше от берега и сейчас, молча и не глядя друг на друга, курили. Тамбовцеву было неудобно перед ними за свое опоздание, и он, виновато покосившись в их сторону, хотел было сразу же пройти к воде, но его остановили.

— Что-то ты, братец, подолгу в кустах сидишь,— не без подначки кинул ему один из летчиков, когда он поравнялся с ними.— Бомболюки, что ль, заело? — Потом, показав глазами на лежавший в траве кислородный баллон, добавил уже без балагурства: — Узнаешь?

— Как не узнать.

— Вот и любуйся.

Баллон был целехонек, без единой вмятины, на нем лишь не то от влаги, не то от взрыва облупилась краска, и Тамбовцев, перекатив его ногой, чтоб разглядеть со всех сторон, протянул вдруг ни к селу ни к городу:

— Скажи на милость, ничего окаянному не сделалось.

Вот матерьяльчик! — Затем, неловко помолчав, уже будничным голосом: — Ну, вы тут курите, а я пойду.

— Иди, иди, — охотно согласились с ним. — Авось чего-нибудь да выудишь. А с нас на сегодня хватит. Иди.

Сойдя на берег, Тамбовцев с минуту постоял молча, как бы приглядываясь к этому зловещему островку, затем, чуть пригнувшись, осторожно, не замутив воды, погрузил свою рогатину в мягкий податливый ил, как раз в середину островка, уже заметно осевшего от частого к нему прикосновения, возвышавшегося сейчас над поверхностью воды всего вершка на два, три, и начал пошевеливать своим орудием, как в печке кочергой. Островок зашевелился, завздыхал, вода вокруг запузырилась, и Тамбовцеву на миг показалось, что это сыпанул дождь. Потом, когда пузырьки мало-помалу улеглись и на воде осталась лишь небольшая зернистая рябь, он увидел в ней свое, искаженное этой рябью, отражение, и долго с удивлением разглядывал его, озадаченно хмуря лоб, пока за его спиной не раздался чей-то простуженно-сиплый голос:

— Водолаза бы сюда, он быстренько все разыскал. А так больше ни черта не выудишь. Илом все затянуло, так что труби отбой, ребята, не то скоро темнеть станет. А дорога не близкая, семь верст.

— Сетью тоже можно, — откликнулся ему кто-то звонкоголосо. — Обычной сетью, рыбачьей...

— Водолаз лучше, — упорствовал сиплый. — Он же все видит. Брось на дно гривенник — и найдет.

— А где его теперь взять, твоего водолаза?

Потом голоса смолкли, и Тамбовцев, еще раз с неодобрением поглядев на своего двойника в воде, откинул туловище назад и, как бы загребая, потянул рогатину на себя. Потянул машинально, наугад. Но рогатина не поддалась, и он не сразу понял, что она за что-то зацепилась. Перехватив ее ближе к середке, потянул сильнее, но уже с опаской, слегка поворачивая ее то вправо, то влево, и когда она, от чего-то отцепившись, но не до конца, поддалась и вскоре всплыла на поверхность, буквально в трех-четырех шагах от берега, к ужасу своему увидел на одном из ее рогов человеческую руку, точнее — полруки, как раз по локоть. В засученном, отворота на два, рукаве серого, в пятнах тины, демисезонного комбинезона, ладонью кверху, с растопыренны-

ми пальцами и посиневшими на запястье венами, рука, будто живая, чуть заметно покачивалась на мутной, постреливающей пузырьками, воде. Из-под рукава комбинезона, к запястью, спускался второй рукав — гимнастерочный, с широким обшлагом, и когда Тамбовцев, понукаемый недобрым предчувствием, особо тщательно, вплоть до латунной пуговицы, разглядел его, то невольно издал горлом какой-то непонятный, будто от удушья, хриплый звук: кант на рукаве гимнастерки был красным. Не голубым, как в авиации, а красным. Сперва он не поверил, откуда, мол, тут быть такому, подумал, что ошибся, и снова, до рези, напряг зрение. Но нет, ошибки не было, кант, хоть тресни, был красным. И в тот же миг страшная догадка, точно над озером громыхнул гром, оглушила Тамбовцева: гимнастерка с красным кантом на обшлаге никак не могла быть у Клещевникова, она могла принадлежать только Бурноволокову. Только ему. Ни у кого другого в эскадрилье — да чего там в эскадрилье, во всей воздушной армии! — такой не было. Значит, это и есть он, штурман Иван Бурноволоков, вернее — то, что от него сейчас осталось,— эта рука. Но почему она здесь, в этом озере? Ведь Бурноволоков, как говорил Доронин, выпрыгнул из самолета сразу же, как только они перетянули линию фронта. Выходит, приземлиться он должен был совсем не здесь, а самое меньшее километрах в тридцати отсюда, еще дальше, чем Доронин, почти у «передка». Не могло же его так далеко отнести ветром. Да и ветра-то сильного не было. Значит, тут что-то не так, значит, Бурноволоков, вопреки заверениям Доронина, вовсе и не выпрыгивал из горящего самолета, а продолжал оставаться там до конца. Иначе откуда же ему быть здесь, в этом озере? Рука-то ведь это его, теперь Тамбовцев ее и без канта узнавал: эти тонкие длинные пальцы, розоватые, аккуратно подстриженные ногти, а на большом ноготь черный — недавно дверью прищемил. Тут и сомневаться нечего, Бурноволоков это, никто другой, как только он, вернее — его рука, мертвая, слегка покачивающаяся на воде ладошкой кверху, точно бы норовившая ухватиться за что-то или просящая помощи, рука, которую он, Тамбовцев, не раз пожимал по-дружески, а теперь уж больше никогда не пожмет. И этот красный кант! Тот самый, что нередко служил поводом для дружеской

поднačки, для подтрунивания над этим рослым красавцем-штурманом. «Пехота, сто верст прошел — еще охота», «Пехота, не пыли!» — такое не раз раздавалось в землянке под дружный хохот летчиков. А в ответ — белозубо-насмешливая, но ни чуть не обидная улыбка и что-нибудь похлеще, позабористее. Теперь же — ничего, только рука, вялая, безжизненная, посиневшая рука мертвеца, и Тамбовцев, как ему показалось, целую вечность не сводивший с нее обалделого взгляда, почувствовал, что ноги у него в коленках слабеют, вот-вот подкосятся, и он, чтобы не сверзиться в воду, порывисто шагнул назад. И тут же приглушенно охнул: рука, шевельнув, как ему показалось, сразу всеми пятью пальцами, как бы поманив его за собой, вдруг соскользнула с рогатины и, легонько булькнув, снова ушла под воду. Тамбовцев ошалело посмотрел на разошедшиеся в этом месте круги и, опять почувствовав в ногах предательскую слабость, согнул ноги в коленях и опустился на песок. И тут же, словно сел на головешку, вскочил, по-бирючьи огляделся по сторонам: вдруг кто заметил, догадался о его страшной находке? Но нет, вроде бы обошлось, никто ничего не заметил: летчики по-прежнему сидели на бугорке и лениво переругивались, кому нести на аэродром извлеченный из воды сапог, и надо ли его вообще туда нести, не проще ли сообщить о нем командованию и на этом поставить точку.

— А хоронить завтра что будем,— услышал он затем давешний, полный возмущения, сиплый голос.

Потом голоса опять смолкли. Да Тамбовцев и не прислушивался к ним: в его глазах, как призрак, все еще стояла эта страшная находка, а в ушах — чуть слышный всплеск воды, который сейчас почти начисто заглушал все остальные звуки. Он мучительно думал только об одном: как же все-таки это получилось, что Бурноволоков оказался здесь, разорванный в клочья, на дне безымянного озерка, а не выбросился из самолета на парашюте, как утверждал Доронин? Что там у них произошло? Что? Неужели Доронин его бросил, покинул самолет первым? И еще: уходили б поскорее эти его однополчане отсюда к чертовой бабушке, оставили б его одного, наедине со своим страшным открытием, а то расселись, чешут языками. Но, как на зло, тут же услы-

шал новый окрик, теперь уже явно обращенный непосредственно к себе:

— Эй, рыбак, домой пора, а ты все полощешься. Кошелек потерял?

Это, как он догадался, крикнул один из техников, тот, что ратовал за водолазов, и Тамбовцев, отыскав его на бугре среди других сузившимися глазами, вдруг ни с того ни с сего взъярился:

— Не кошелек, а часы. Понял? Золотые часы. А теперь рули отсюда! Все рулите! До одного!

На бугре задвигались, зашумели, особенно хриплый, сторонник водолазов, но кто-то внушительно положил ему на плечо руку, встряхнул, тот присмирел, и вскоре летчики один за другим, сперва нехотя, вперевалочку, чтоб не показаться посрамленными, изредка оглядываясь на Тамбовцева, потом ускорив шаг, потянулись в сторону ольшанника, где начиналась дорога на аэродром.

Тамбовцев же, помедлив, пока они совсем не скрылись из вида, снова подошел к самой кромке берега и, еще раз настороженно оглянувшись назад, запустил рогатину в то место, где недавно скрылась роковая находка. Терпеливо подождал: авось ненароком даст о себе знать. Напрасно — на воде даже пузырей не появилось. Тогда пощупал дно — в этом месте оно было гладким и чистым. И все равно опять потянул рогатину на себя. И снова пусто. Ничего, раз, другой сорвалось — на третий выйдет. Ведь в озере, в этой, необычной даже для летчика, могиле, его однополчанин, его товарищ, наконец, его брат по оружию, и он уже упрямее запустил свое орудие лова в воду, между берегом и островком, потом еще и еще, но все равно безрезультатно: ни руки, ни чего-либо другого, что могло остаться от бедного штурмана, не было. Попробовал даже загадывать: если сейчас, сию секунду, вот этот пузырек лопнет — удача, или если зазвенит в ушах, в правом, скажем, что-нибудь да отыщется. И долго слушал, но звона, хоть плачь, не было, либо звенело в обоих ушах сразу, а удача не приходила. Понял — ребячество. Бросил. Снова начал орудовать своей рогатиной на полном серьезе, без уловок, но сколько ни пыхтел и ни потел, сколько ни корячился, отыскать потерю так и не мог, и, когда на озеро от деревьев легли густые тени, от воды

потянуло холодом и сыростью, кляня себя за промах, голодный и усталый, уныло побрел обратно на аэродром.

О своем страшном открытии он решил до поры до времени никому не говорить, и когда, вернувшись в землянку, застал там Доронина, слегка хмельного (Жанна, видать, постаралась) и всем улыбающегося, он, чтобы ненароком не выдать себя, намеренно завалился раньше на боковую, хотя его так и подмывало соскочить с койки и кинуть тому в раскрасневшееся от жары и водки лицо: «Предатель, товарища бросил, да может еще раненого!» и бить, бить по этой противной физиономии до тех пор, пока он не запросит пощады или не испустит дух. Даже ночью, уже во сне, это ужасное открытие не давало ему покоя, бередило душу, и он то и дело со стоном просыпался и, ощущая в сухом рту какую-то непонятную горечь, долго лежал с открытыми глазами и мучительно слушал, как через койку от него мощно похрапывал тот, кого он с радостью бы задушил собственными руками.

А на утро, впопыхах проглотив завтрак, Тамбовцев снова был на берегу озера, у злосчастного, еще заметнее осевшего за ночь островка, только теперь уже один, без свидетелей. Правда, для этого ему пришлось показать характер, каким он, в общем-то, не обладал. Еще до завтрака он заявился к командиру эскадрильи и попросил у него разрешения отлучиться с аэродрома до обеда, благо боевых вылетов до обеда, по случаю похорон Клещевникова, не планировалось. Поначалу командир отказал, сославшись как раз на эти самые похороны.

— Что скажут в эскадрилье,— резонно попенял он летчику,— если вы не проводите в последний путь своего боевого товарища?

Тамбовцев в жизни не перечил начальству и вообще старался как можно реже иметь с ним дело. Он принадлежал к тому типу людей, для которых кривая вокруг начальства и была кратчайшим расстоянием между двумя точками. Однако на этот раз он полез на рожон: сперва начал сочинять насчет какой-то тайны, потом перечить и дерзить,и командир, у которого и без того от забот и хлопот голова шла кругом, скорее ошарашенный, чем возмущенный необычным поведением смиреннейшего в эскадрилье летчика, в конце кон-

цов махнул рукой и поскорее выпроводил его из землянки, так как до похорон Клещевникова времени оставалось немного.

Тамбовцев на этот раз решил действовать иначе: щупал дно не рогатиной, а специально сделанным из проволоки и марли, раздобытой в санчасти, у Настасьюшки, сачком. Да, видно, чем-то прогневил «водяного»: рука и в сачок не попадалась, хотя он орудовал им довольно ловко и так осторожно, словно одним неверным движением мог вдребезги расколоть зеркальную гладь озера и тем испортить все дело. Через час безуспешных поисков он решительно сбросил с себя сапоги, брюки с гимнастеркой и, оставшись в одних трусах, постанывая с непривычки от холода, храбро вошел по пояс в студеную воду. Но и этим ничего не добился. Дно оказалось вязким и грязным, сплошь усеянным твердыми и острыми обломками самолета, и он, сделав несколько спотыкающихся шагов, только замутил воду, а когда снова, посинев от холода, выбрался на берег, правая нога выше щиколотки оказалась порезанной, и ему пришлось долго возиться, чтобы унять кровь. Но и это его не обескуражило. Неторопливо одевшись и с жадностью выкурив раз за разом две папиросы, правда, все еще стуча зубами от холода, он вновь с проснувшейся надеждой запустил сачок в воду, опять осторожно потянул его на себя, но и в этот раз удачи не было — в сачок попал лишь обрывок бортовой электропроводки да небольшой кусочек эбонита не то от бомбосбрасывателя, не то от приборной доски.

Тамбовцев скрежетнул зубами и забросил сачок еще раз. Потом снова и снова, но руки по-прежнему нигде не было.

«Не иначе за ночь ее либо сожрали рыбы, либо отнесло куда-то в сторону,— с горькой иронией подумал он.— Теперь ее сам леший не сыщет».

Но ведь кроме этой руки, от бедного Бурноволокова могло остаться еще что-нибудь, тот же сапог, скажем, шлемофон или, на худой конец, ремень с пистолетом, так ведь и этого ничего не было, и Тамбовцев, вконец измучившись, отошел подальше от берега, устало опустился на землю и, запустив пятерню в пламеневший, как подсолнух, чуб, накрепко стиснул челюсти. Где-то, невдалеке за островком, сверкнув на солнце

чешуей, плеснулась рыбешка — он не услышал, потом, характерно тарахтя мотором, над озером низко прошел связной «По-2», второй день кряду пытающийся, как он знал, отыскать хоть какие-нибудь следы Бурноволокова — в его сторону даже не посмотрел: продолжал сидеть все так же молча и неподвижно, будто не живой, и лишь в глазах его с набрякшими веками, словно под пеплом, тлел слабый огонек.

Но был ли то огонь надежды, унылой покорности либо отчаянья, сказать было трудно. Может, летчик просто мучительно силился и никак не мог до конца разгадать, что же в сущности вчера произошло в небе, на борту бомбардировщика, что за трагедия там разыгралась?

V

Цвета у пламени не было, и штурман не сразу понял, что произошло. Он все еще слышал только, как над ухом, всхрапывая, дышал «мессершмитт» и небо звенело от беспрерывных каленых очередей, и лишь когда из правого мотора ударил дым, понял: самолет загорелся. Ломая шею, он обернулся к Доронину, крикнул, срывая голос:

— Подожгли гады! — и с хрустом в плече выбросил руку вперед.

Доронин, сгорбатив спину, почти налегая грудью на штурвал, продолжал рвать сектора газа из гнезд. Увидев перед самым носом руку штурмана, он скосил в его сторону оторопело-злобный взгляд — и окажись тот менее крепким в ногах и не схватись за пулемет, его б, наверное, так швырнуло на борт, к бомбосбрасывателю, что он оставил бы там свои мозги: это Доронин, завидев, наконец, уже обретшее свой изжелта-зеленый цвет пламя, ошалело кинул самолет влево вниз, и пламя, точно в нем порвали жилы, тут же съежилось и, беззлобно лизнув на прощанье дюраль капота, сорвалось с мотора и через мгновенье пропало где-то далеко в хвосте, за стабилизатором. Но это не вернуло мотору жизнь, она оставила его вместе с пламенем. Какое-то время, правда, он еще, сотрясая крыло, надсадно гудел, харкал дымком из патрубков,

парил радиатором, но вот лопасти винтов, потеряв силу, завращались медленнее, а затем и вовсе замерли в неподвижности, и как Доронин ни пытался потом поставить их во флюгерное положение, они не повернулись ни на градус — заклинило.

А над «охромевшей» «пешкой», уже плохо слушавшейся рулей, то и дело норовившей лечь на правое крыло, метр за метром терявшей высоту, опять зловеще, во всю силу легких дышал «мессершмитт», а штурман, снова припав к пулемету, никак не мог загнать его в сетку прицела: ушибленная рука затяжелела, подчинялась плохо, палец со спускового крючка соскальзывал, а перед глазами, изъеденными дымом, время от времени плавали оранжевые круги. Да и «мессершмитт» маневрировал искусно, чувствовалось, что там сидел ас: едва зрачок пулемета штурмана нащупывал его тело, он мгновенно отваливал в сторону, а потом снова, будто дразня, подходил ближе. Штурмана это злило, от постоянного нервного напряжения у него задергалось правое веко, мешая следить за действиями истребителя, и он, чтобы унять этот тик, остервенело сорвал с лица мешавшую теперь кислородную маску и с неменьшим остервенением потер глаз пальцем. Глаз покраснел, зато тик прекратился, и это его несколько успокоило. А вот в ушах давило по-прежнему, словно по ним ударяли чем-то тяжелым. Он попробовал было сглотнуть слюну, но во рту было абсолютно сухо. Не помогло и постукивание по наушникам шлемофона, и он, чтобы как-то избавиться от боли, переменил позу и раз за разом вобрал в себя побольше воздуху, затем, поудобнее пристроив палец на спусковой крючок пулемета, с тоской и надеждой глянул на ветровой козырек третьей кабины, за которым каждый раз, как оборачивался, привык видеть крупную, туго затянутую в шлемофон, голову стрелка-радиста, его острые, настороженно приподнятые плечи с белыми полосками парашютных ремней. Правда, он знал, что стрелок-радист Степан Клещевников уже убит, убит еще в первой атаке, что его безжизненное тело сейчас швыряло по кабине с борта на борт, и все же, вопреки очевидности, не удержался, чтобы еще раз не посмотреть в его сторону, и, понятно, ничего, кроме пулевых трещин в козырьке да пробоин в зеленой обшивке фюзеляжа, не увидел. Лишь дальше, в хвосте,

словно с самолетом ничего не стряслось, по-прежнему неслышно пели свою песню вислые провода антенны да зеленые кили стабилизатора, что делали «пешку» так не похожей на все другие самолеты, равнодушно резали на лоскуты холодное осеннее небо, дугой упершееся в пустынный горизонт.

Штурман досадливо скривил рот и опять перекочевал взглядом на «мессершмитта». «Мессер» шел все так же справа и выше, параллельным «пешке» курсом, оставляя за собой прозрачный и легкий, как позолоченная ткань, след, и если б не крест, что глянцевито поблескивал на его фюзеляже, почти сразу же за игравшим бликами колпаком кабины, его вполне можно было принять за своего — так он выглядел в этот миг по-домашнему мирно. И еще, глядя на «мессера», почтительно сохранявшего дистанцию, штурман почему-то сейчас, впервые за время полета, подумал о том, что вряд ли Клещевникову стоило тогда так близко подпускать его напарника к хвосту. Ведь это он, Клещевников, когда они, разведав аэродром, легли на обратный курс, первым заметил их и сообщил об этом экипажу. Причем не внезапным и беспрерывным, как было условлено, писком зуммера, который мог излишне встревожить летчика со штурманом, вызвать у них ненужную, даже опасную в таких случаях лихорадочную воинственность, а микрофоном, обычным голосом:

— Вижу истребителей. Сзади справа.

Голос его был настолько ровным и спокойным, что штурман даже не сразу понял смысл сказанного, а лишь когда Доронин ударом в плечо заставил его обернуться назад, увидел их. Истребителей было двое, но «мессершмитты» это или «кертиссы», он сперва не разобрал, так как шли они от «пешки» довольно далеко, километрах в двух, если не больше, как раз со стороны ядовито желтевшего на фоне озерной ряби Лисьего Носа, торопясь набрать высоту, чтобы иметь преимущество. Получив удар в плечо, истолковав его по-своему, штурман тут же схватился за пулемет и, как только истребители круто взяли влево и пошли на сближение, которое он принял за атаку, загнал ведущего в сетку прицела и дал по нему длинную очередь.

— С ума сошел! Пусть подойдут ближе!

Это, еще трасса не остыла, крикнул Клещевников, крикнул, как ему показалось, не с укором, а озлобленно, и штурман, разом, подавив в себе воинственную прыть, виновато скосил глаз в его сторону. Но обычно маячившей за ветровым козырьком его круглой, как туго надутый мяч, головы в коричневом шлемофоне не увидел. Понял: Клещевников припал либо к бортовому шкасу, либо к кинжальному, «березинскому».

Тем временем первый из «мессершмиттов» — теперь это уже бесспорно были они, а не «кертиссы» — набрав высоту, лег на левое крыло и снова пошел на сближение. Второй был где-то ниже; его, верно, скрывал от штурмана фюзеляж, и он, не спуская налитого азартом глаза с первого, с тревогой подумал, что и Клещевников его тоже не видит и что сейчас он как раз пойдет в атаку и насквозь пропорет им живот. Он уже хотел было крикнуть стрелку об этом, но не успел: в тот же момент по самолету волной прошла дрожь. Потом еще и еще. По силе этой дрожи штурман догадался, что стрелок ударил из крупнокалиберного, кинжального, а вскоре увидел и кособоко вывалившегося из-под фюзеляжа «мессершмитта». Мотор у «мессершмитта» был целехонек, винт его все так же добросовестно загребал расплавленный солнцем воздух, волоча вытянутое тело самолета вверх, вроде на боевой разворот, а вот из его правой плоскости рвалось, похожее на раздерганный петушиный хвост, пламя и валил густой и черный, в кольца завитой, дым.

— Ай да Степан! — ахнув от восторга, белозубо крикнул штурман и даже по гусиному вытянул шею, чтобы лучше разглядеть, как тот сейчас начнет падать, но что-то вдруг остановило его. Это что-то была мысль о Клещевникове — ведь он не отозвался. Штурман обратно втянул голову в плечи, потрогал для верности ларингофоны — в наушниках засвирестело — и, сглотнув слюну, спросил озадаченно:

— Ты слышишь меня, Степа? Отзовись!

Ответа не было. Тогда он отыскал глазами кнопку на СПУ и повторил вызов зуммером. И опять ничего, только свист и щелканье, будто кто-то далеко-далеко, на том краю света, бросал в воду камушки.

— Убит! — сломал рот в безмолвном крике штурман и, чуть придя в себя, дал знать об этом Доронину.

А потом вот эта атака, что заткнула глотку правому мотору. Хорошо еще, что Доронин не сробел, сумел сбить пламя и не дал «пешке», когда она завалилась в крен, сорваться в штопор — не то б они и костей не собрали.

Да только утешение это было слабое — ведь второй «мессершмитт» и сейчас висел над ними, висел неотступно, как тень, выбирая удобный момент для новой атаки. Он даже намеренно сделал неглубокий крен, чтобы лучше следить за действиями экипажа, а может, ожидая, что пламя снова само взовьется над еще не остывшим мотором, и ему тогда не надо будет лезть на рожон, под пулеметные очереди. Винт его безустали крошил лопастями стылую синь неба, закручивая ее в серебристую спираль, короткие, не по фюзеляжу, крылья, целиком подставив себя солнцу, высекали разноцветные блики, высоко поднятый стабилизатор добросовестно разматывал за собой клубок серебристо-дымчатой пряжи, а штурман видел в прицеле лишь непривычный для его глаза несуразно большой черно-белый крест, темный силуэт летчика за стеклом кабины и, нервно вздергивая щеку, отчего шрам на ней казался глубже, и не голубым, а синим, постепенно наливался холодным бешенством. Никто бы сейчас не признал в нем того рослого белокурого красавца, который не так давно появился в эскадрилье и покорил всех своей белозубо-насмешливой улыбкой. Улыбки сейчас не было, ее заменила жесткая складка у бескровных губ да холодный блеск зло прищуренных глаз под тугими дугами надбровниц. И если там, над Лисьим Носом, когда его взору впервые представилась чужая, настороженно притихшая земля, и он, как ни тужился, не мог представить себе облик врагов, их фигуры и лица, то сейчас эти же его зло прищуренные глаза, казалось, видели не только физиономию немецкого летчика, но и высокомерную улыбку на его выпяченных губах, и даже обнаженные в этой улыбке прокуренные до желтизны крупные зубы.

Бурноволоков никогда в жизни не ругался и не любил, когда ругались другие, но когда вскоре Доронин, видно, обеспокоенный его долгим молчанием,

легонько дотронулся до его плеча рукой, от неожиданности испуганно вздрогнул и, будучи уже не в силах дольше выносить эту надменную улыбку гитлеровского молодчика, давая выход скопившемуся бешенству, вдруг крикнул, раздирая рот и содрогаясь от собственного крика:

— Стреляй! Стреляй же, гадюка! Атакуй...

И получилось так, что немец, словно услышав этот его крик, вдруг стремительно кинул самолет влево и, ловко перепрыгнув через тут же пущенную ему наперерез огненную радугу, дал длинную очередь, потом, довернув влево, еще две, длиннее первой. Этот огненный, блеснувший молнией без грома, фейерверк на мгновенье ослепил штурмана, и он прикрыл ладонью глаза. В тот же миг почувствовал: в левой плоскости что-то треснуло, будто ее надломили через колено, и уж после, когда вокруг стало тихо и покойно, как в больничной палате,— легкое жжение в правом плече. «Кажись, задело»,— еще не совсем придя в себя, опережая страх, подумал он и, остерегаясь открывать глаза, левой рукой потянулся к тому месту, где жгло и стало мокро, и тут же вскрикнул от боли. Пуля, верно, порвав связки, засела где-то под мышкой, в мякоти, и он, своим прикосновением только растревожив рану, открыл глаза. Первое, что он увидел, была не кровь на плече и не надломленная плоскость, треск которой он явственно слышал, а вспучившееся пламя, что лютовало прямо перед глазами на зеленой обшивке фюзеляжа за главным — пятьсот литров! — бензобаком. Цвет у пламени был не желтым, не красным, а синим, даже фиолетовым, как у спелой сливы, и оно не стлалось, как обычно, по ветру, а, наоборот, скрученное им в клубок, наперекор ему, приплясывая, подкатывалось сюда, к кабине, норовя ухватиться за ствол пулемета. Вид этой полыхающей жаровни подействовал на штурмана отрезвляюще: теперь он знал, что ему делать. С невесть откуда взявшейся силой, едва не ударившись затылком о бронеспинку, он оттолкнул себя от турели и, наклонив голову, шагнул вперед, к Доронину, крикнул в самое ухо, хотя СПУ еще действовало:

— Я ранен, Платон, надо прыгать!

Доронин с самого начала вел себя в воздухе молодец-молодцом: и над целью, и под зенитками, когда

они завели свою песню уже на развороте от аэродрома. И на штурмана он действовал благотворно: чуть что, короткая реплика, точный взгляд, выразительный жест — и все становилось на свое место. А вот сейчас в его поведении что-то изменилось, произошел какой-то перелом. Он теперь словно бы не слышал команд штурмана, даже не шевельнулся, когда тот крикнул ему о своем ранении, будто был в самолете один. Правда, в последний миг изменилась и сама обстановка. Изменилась круто. Ведь пожар на борту, да еще возле бензобака, пожар, который подбирается к твоему собственному затылку, который вот-вот обожжет тебя, превратит в пепел, это уже не десяток пробоин в обшивке фюзеляжа, о которых ты иногда узнаешь лишь на земле и пересчитываешь со снисходительной улыбкой, и не черные хлопья разрывов под крылом, которые можно просто не заметить, и не труп стрелка-радиста где-то там, в третьей кабине, которого ты не видишь и, следовательно, нутром не ощущаешь, и даже не выведенный из строя мотор — лететь пока можно и на одном,— а нечто посерьезнее. Точнее же — сама смерть. И не где-то там, на расстоянии, где, скажем, начинают свои атаки «мессера» или заявляют о себе с земли вспышками зенитки, а буквально рядом, за плечами, обернись — и увидишь. И все же это не давало Доронину права терять голову, если он ее и взаправду терял. И потому штурман, убедившись в бесцельности своих попыток открыть нижний люк — заклинило! — еще раз крикнул ему во весь голос:

— Я ранен, Платон, надо прыгать! — и сделал понятный каждому летчику жест в сторону приборной доски, над которой краснела рукоятка аварийного сброса фонаря кабины.

А Доронин в этот миг и без того уже рвал на себе привязные ремни, рвал суматошно, невпопад, и они упорно не расстегивались, а скинуть мешавшие перчатки ему, видимо, не приходило в голову. При этом лицо его, наполовину скрытое кислородной маской, исходило пятнами, поры как бы дымились, а глаза, обычно сухие, без блеска, сейчас же покрасневшие и влажные, как у человека, больного гриппом, пуговицами лезли из орбит. И еще, что успел заметить штурман — это крупные зерна испарины на его виске, обильно смочившие багро-

вый рубец и выбившиеся из-под шлемофона ворсинки шерсти. Догадавшись, наконец, сбросить перчатки, освободившись от привязных ремней, Доронин вдруг оттолкнул нацелившуюся на аварийную рукоятку руку штурмана и, выпростав из педалей ноги, заваливаясь вместе со штурвалом вправо, потянулся к ней сам. Но ухватился не сразу — пальцы его плясали, будто спьяну, тыкались в приборную доску вокруг да около, и только когда он привстал с сиденья, подался вперед, наконец, поймал ее и неловко потянул на себя. Не спуская с этой же рукоятки мучительно прижмуренных глаз, внутренне сжавшись, уже готовый к прыжку за борт, штурман слышал, как он тяжело, с каким-то клекотом, словно его мучило удушье, хрипел, и от злости, что рукоятка не поддается, крошил зубы об зубы. Потом хрип перешел в глухое бульканье, затем в сопенье, будто он сосал леденец, а рукоятка все не поддавалась, и штурман, с ужасом подумав, что пламя — глянуть назад он страшился — верно, уже подобралось к бензобаку и сейчас их вместе с самолетом разнесет на куски, бросился тому на помощь — и в тот же миг словно кто-то рванул из-под его ног шаткий, вставший на попа, гофрированный пол кабины, высек из глаз искры и плашмя швырнул назад, на турель, к пулемету. И хотя удар был резким и он отчетливо услышал, как в пояснице что-то хрустнуло, боли не почувствовал, только песок на зубах да гул в голове. И еще какую-то смутную, не вполне осознанную радость. Через мгновенье понял: колпак сорван, а это чудовищем ворвавшийся в кабину воздушный поток пересчитал ему косточки и загнал в угол, как собаку в конуру. Высвободив руку, ненароком угодившую в хитроумное сплетение бортовых проводов, он попробовал открыть глаза, чтобы посмотреть, что с Дорониным — не получилось, ветер прихлопнул их, как ставни на окнах, попытался разжать рот, чтобы выплюнуть песок, и чуть не задохнулся — легкие распер воздух. Догадался: надо наклониться. Но стоило ему согнуть спину, как удар о турель дал, наконец, себя знать: поясницу пронзила дикая боль, и он, застыв в этой неловкой позе, не смея шевельнуться, чтобы не потерять сознание, еле сдержал крик. Затем, когда приступ боли пошел на убыль, осторожно согнул ноги в коленках и, опершись руками в пол, присел на корточки. Здесь, внизу, было сравнительно тише

и — главное — не так пахло гарью, и он, собравшись с духом, переждав подступивший было к горлу приступ тошноты, все так же, не разгибая спины, почти на четвереньках, покарабкался вперед, где его, он был уверен, поджидал Доронин, чтобы помочь ему перекинуть ноги за борт и затем самому выброситься из самолета за ним следом. Делать же это в тесной, до отказа забитой всевозможным оборудованием, кабине было не легко. Уже при первом неосторожном движении он зашиб раненую руку, и ее тотчас скрючила судорога, затем он зацепился лямками парашюта за какой-то острый выступ, а пока отцеплялся, в кровь исцарапал большой палец. Потом его долго бил кашель, и когда он с трудом унял его, взмок, словно только что принял горячую ванну: гимнастерка сразу прилипла к телу и вызвала между лопатками покалывающий зуд. Но он, казалось, не замечал этого, лишь упрямо пыхтел и, подтягиваясь вперед, думал об одном и том же: не взорвался бы раньше времени бензобак, только бы не взорвался. Если взорвется — конец. Конец всему: и экипажу, и машине, и небу с солнцем. Над его головой разгульно, как в степи, гудел осенний ветер, кабину насквозь, до единого закоулка, продувал ледяной сквозняк, где-то слева и сзади стыло вызванивал металл, а ему уже чудилось, что в кабине клокочет пламя, пахнет дымом и гарью, и все предметы, к которым он прикасался, были горячи, как головешки. А тут еще, уже на полдороге, самолет вдруг круто и, как-то вопреки всем законам аэродинамики, словно он лишился рулей, кособоко повело на сторону и следом встряхнуло так сильно, что на обшивке центроплана чудом не полетели заклепки. Штурмана же при этом опять кинуло назад, припечатало к чему-то острому, и он, словно погружаясь в бездну, едва успел подумать: теперь-то сознание оставит его, оставит непременно, если он сейчас же не соберет все свои силы. Но сил, чувствовал, не было, только — подозрительно баюкающее бессилье и нехватка воздуха, и он, внутренне коченея, машинально нащупав раненой рукой влажный от пота лоб, словно срывая на нем злость, с наслаждением вырвал из бровей клок волос. Это его, как ни странно, и выручило: ощущенье удушья вдруг прошло, взгляд снова посветлел, стал осмысленным, в теле появилась упругость, да и самолет к тому же вроде снова принял

горизонтальное положение, и Бурноволоков с проснувшейся надеждой опять двинулся вперед, к поджидавшему его Доронину, оставляя на ребристом полу кабины то лоскут от комбинезона, то пятно крови. И снова по дороге его бил кашель, снова его тело скручивали судороги, но он только упорно, сквозь зубы, рычал и до предела поджимал желудок к позвоночнику. Добравшись, наконец, до середины кабины, ухватившись здоровой рукой за рукоятку аварийного выпуска шасси, он с облегчением перевел дух и, успев заметить через плексигласовый пол в кабине половину какого-то до боли знакомого по конфигурации, похожего на рыбий плавник озера и треугольник горелого леса, поднял голову на Доронина — и тут глаза его, от натуги и волнения налившиеся желтизной, враз побелели, а в голове, точно он с разбега ударился о каменную стену, поплыл звон — Доронина в кабине не было.

А потом небо с подсиненными на горизонте облаками вдруг поползло вверх и стала набегать земля — самолет, теперь никем не управляемый, по своей воле, вошел в последнее пике.

Но штурман этого уже не чувствовал. Уткнувшись лбом в стояк порожнего сиденья, потеряв ко всему интерес, совершенно безразличный к тому, что сейчас должно было произойти, он не подавал никаких признаков жизни. Лишь у самой земли — самолет в этот миг опять слегка тряхнуло,— когда он напоследок каким-то незрячим, выпотрошенным взглядом обвел кабину и остановился на высотомере, в его глазах вдруг снова полыхнул огонь и засветилась мысль. И эта мысль, как пленник, беспокойно запросилась наружу, попыталась вырваться, сложиться в звуки — слова и фразы,— но сил на это уже не было. Их хватило у штурмана лишь на то, чтобы плотно сомкнутые, в кровь искусанные губы в последний раз раздвинуть в белозубо-насмешливой, но ни для кого не обидной улыбке.

Старый лось, щупая копытом воду, неторопливо и с достоинством вошел в озеро, и хотя до противоположного берега было не близко, именно этот чуть слышный всплеск воды и вывел Тамбовцева из мрачной задумчивости. Он поднял голову и, встретившись глазами с лосем — сохатый, держа уши вразлет, тоже с бесстрашным

любопытством глядел на него,— позабыв свои недавние страхи и опасения, открыто, с ребячьей непосредственностью залюбовался им. Сухой, поджарый, с мощными рогами, тяжести которых он, верно, не чувствовал, продолжая все так же безбоязненно глядеть на человека, лось вскоре сделал еще несколько степенно четких шагов в воду и вдруг, круто выгнув спину, взбив вокруг себя водопад из брызг и пены, огромным скачком наискось вымахнул на берег и через мгновенье пропал в редких зарослях кустарника.

Тамбовцев понял: почуял опасность.

«Что, брат, и тебе не сладко»,— только и подумал он и, проводив лося мысленным взором до безопасно темневшей на том берегу гряды леса, опять ушел в свои невеселые думы.

Хотя Тамбовцев мог лишь догадываться о таинственной трагедии, разыгравшейся в небе, не знал всех ее подробностей, для него все же было совершенно очевидно: дело тут не чисто, Доронин сподличал, совершил предательство, но если он, Тамбовцев, не добудет единственного тому доказательства — затерявшейся где-то на дне озера руки с красным кантом на гимнастерке,— ему в этом на аэродроме никто не поверит. Скажут: помешилось, поднимут на смех, если не больше. На откровенность же самого Доронина, даже запоздалую, и рассчитывать было нечего. Не такой Доронин человек, чтобы себя под монастырь подводить. Но и так оставлять это дело нельзя, совесть не позволит, и Тамбовцев, в последний раз кинув невеселый взгляд на оплывший по краям, уже совсем крохотный, с моторный чехол, островок, возле которого где-то под водой оставалась его ужасная находка, вдруг — решение созрело мгновенно: сейчас он пойдет и обо всем расскажет командиру, а там будь, что будет! — с облегченным вздохом поднялся на ноги и ходко припустил на аэродром.

На аэродроме тем временем был объявлен боевой вылет, и когда Тамбовцев, на ходу приведя себя в порядок, появился на КП, там уже все были в сборе. Он сразу заметил, что командир был не в духе — угрюм, немногословен. Присмотрелся к остальным — то же самое: ни смешка, ни улыбки. Разговоры — только самые необходимые. И те — вполголоса. Ясно — похоронили Клещевникова, проводили Степу, как говорится, в последний

вылет, из которого он уже никогда не вернется. А сейчас вот этот, уже боевой, всей эскадрильей, на новую цель — крупный железнодорожный узел. Конечно же, командиру не до него, не до Тамбовцева, и летчик, решив отложить разговор на после, когда вернется с задания, неловко чувствуя себя под взглядами однополчан, точно бы осуждавших его, что не был на похоронах Клещевникова, получив последние указания, раньше других заколесил на стоянку, к своему самолету.

Когда же часа через два эскадрилья, вернувшись с задания, снова появилась в небе над аэродромом, самолета младшего лейтенанта Тамбовцева в ее строю не было,— он был сбит огнем зениток еще при подходе к цели.

Так не стало человека, который, сам того не ведая, приоткрыл завесу над трагедией, что днем раньше разыгралась в залитом солнцем холодном осеннем небе.

Правда, оставался еще один свидетель — само небо. Но небо не раскрывает своих тайн, хранит их надежно.

ОГНЕННАЯ МЕТЕЛЬ

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

«Предложение сдаться было встречено смехом, криками и усилением огня».

(Из донесения командира 91-го немецкого резервного полицейского батальона капитана службы безопасности Фауста Гродненскому уездному комиссару доктору Плетцу. 10 апреля 1942 г.)[1].

I

Церковь была старой, с потемневшим сводчатым потолком и такими же потемневшими бервенчатыми стенами. В окна и с паперти дуло, из левого притвора несло сыростью, и Борис, стоя перед аналоем, справа от невесты, немного ошалевший, то и дело шмыгал носом и с непривычки близоруко щурил голубые глаза. С иконостаса, подкрашенного нездоровым светом лампад, на новобрачных сурово глядели лики святых, и лишь божья матерь, в раме накладного золота, казалось, взирала на все не то снисходительно, не то с безразличием.

Священник долго возился в ризнице и когда наконец появился оттуда в пышном облачении, с крестом на животе, важный и торжественный, Борис услышал, как кто-то из партизан, кажется, Чубатый Иван, подошел к нему и предупредил солидным шепотом:

— Без туману, батюшка. Времени на эту канитель у нас нету. Р-раз — и в дамки!

Священник обиженно кашлянул и, разом полиняв, глядя куда-то в сторону пустовавшего клироса, с уби-

[1] Материалы Гродненского областного архива.

тым видом приступил к венчанию. Что и о чем он говорил, Борис не понимал: мешало горячее перешептывание людей за спиной, девичье хихиканье и еще чей-то неутешный, похожий на судороги, плач на погосте, первые кресты которого начинали нести караул сразу же за церковью. Мешал сосредоточиться и парабеллум: Борису все казалось, что он выглядывает у него из-под тужурки, выглядывает назойливо, дразня не только прихожан и батюшку, но и солтуса [1], зашедшего поглазеть на венчание. В себя пришел он лишь тогда, когда обряд кончился и после убогой и душной церквушки снова очутился на свежем воздухе. Усадив Настасью — теперь уже законную жену — возле себя в тарантас, он нетерпеливо толкнул в спину Петьку — и пара вороных тотчас же вынесла их из церковной ограды на хуторскую дорогу. Следом за ними, соблюдая приличную для случая дистанцию, тронулся конный отряд разношерстно одетых людей.

II

...Сначала была тишина. И медвяный запах трав. И синее, в россыпи спелых зерен, небо над головой. Глянешь — не оторвешься. Будто мед пьешь. И вдруг все это, словно норовистый конь, встало на дыбы: и тишина, и запах трав, и небо.

Он тогда только что вернулся с поста, протер винтовку и, радуясь прохладе раннего утра, присел на скамейку покурить. Но после первой же затяжки кто-то рванул из-под ног землю, опрокинул навзничь и небо, и разлапистый дуб, что сторожил сон его однополчан, ударил в ноздри тошнотворной гарью.

А потом был отход на восток, через топи и болота, бои в окружении, свежие холмы могил, сухарь на двоих, нехватка бинтов и патронов, полудрема с автоматом в руках — и снова бои, стычки, перестрелки. Иногда по нескольку раз в день. И кончилось тем, что от роты их осталось лишь двое — он, рядовой Борис Пахомов, и младший политрук Кравчук. А после погиб и Кравчук. Случилось это уже под Гродно, возле Берестовиц. Село есть в Белоруссии такое. Красивое село. С прямыми зелены-

---

[1] Староста белорусской деревни при немцах.

ми улицами, с чистенькими хатками. К этому селу и вышли они той ночью, что засела в памяти Бориса, как в собачьем ухе клещ. Заметил Берестовицы первым Кравчук. Он и вызвался сходить разведать, нет ли там немцев.

— А ты пока тут побудь,— наказал он Борису и неслышно растаял в темноте.

Борис присел, чтоб перемотать портянки, но едва стащил первый сапог, как сухое безмолвие ночи надломила короткая, словно вспышка, автоматная очередь, за ней, с хрустом доламывая тишину, другая, более долгая, и из кустов, припадая на левую ногу, прямо на него вылетел Кравчук.

— Бежим! Немцы!

Это и без того было ясно, и Борис, подхватив автомат, низко, по бычьи, наклонив голову, бросился за ним вслед. Засвистел в ушах ветер, запели над головами пули, застонал и заухал разбуженный лес. Остановились они лишь тогда, когда отмахали версты четыре, не меньше, как раз возле ручейка, игравшего в прятки с лозняком и ольхой на дне неглубокого, с рваными краями, оврага. Здесь, на дне оврага, и нашел свое последнее пристанище политрук Кравчук: две раны — в бедро и плечо — оказались смертельными. Умирал он долго и мучительно. Напоследок, уже теряя сознание, посоветовал:

— Фронт, видать, уже далеко. Так что спеши. Да будь осторожней. Ты теперь один...

Два дня после этого, как в горячке, проблуждал Борис в глухом и неприветливом лесу, две жутких ночи, как бездомный пес, провел он на чьем-то заброшенном хуторе, а на третью, случайно набредя на деревню, валясь от усталости с ног, не выдержал и постучался в крайнюю хату. Ахнула хозяйка, увидев перед собой худого, грязного, в рваной гимнастерке и без сапог солдата, пробормотала что-то невнятное, затем, опасливо глянув по сторонам, вдруг сама, почти силком, втащила его в хату и быстренько заперла на щеколду дверь. Не расспрашивая, лишь поминутно крестясь и вздыхая, она напоила, накормила беднягу и отвела в чулан, где уже была постлана постель — и Борис, точно нырнув в пропасть, впал в беспамятство. Очнулся он лишь на сле-

дующий день, вечером, когда в хате раздались чьи-то громкие голоса.

«Немцы»,— решил он, покрываясь потом и силясь вспомнить, где автомат.

И верно, в хате были немцы. Из Берестовицкой комендатуры. Они зашли за салом и яйцами, да задержались, повстречав здесь двух миловидных девчат из соседнего села Плюскаловцы, дальних родственниц хозяйки. Немцы, похоже, напропалую волочились за ними, да неуклюже, местные фрейлен то и дело ставили их в тупик. Купаясь в поту, Борис продолжал отыскивать автомат, но как назло угодил рукой в самоварную трубу, и она с грохотом покатилась по полу. Немцы кинулись к чулану.

— Кто это?

Хозяйка, побледнев, собралась было открыть рот, но ее вдруг перебила одна из девушек:

— Мой жених!

— Жених?

— Да, — кокетливо повторила она и, соблазнительно играя бедрами, подошла к постели Бориса и положила руку на его мокрый лоб.— Приболел вот только. Животом мается. И жар. Весь в огне...

Рука у нее была небольшая, но сильная, с жестковатой кожей, и Борис, продолжая лежать с закрытыми глазами, чувствовал, что девушка его энергично вдавливает в подушку: лежи, дескать, не рыпайся, предоставь все мне. И скажешь спасибо, иначе — беда.

— Когда же свадьба, фрейлен? — донесся затем до него голос одного из немцев.

— Как поправится.

— Не забудьте и нас пригласить.

— Не забуду.

Вскоре немцы ушли, и Борис, наконец, решился открыть глаза. Перед ним, прислонившись к косяку, стояла светловолосая девушка лет двадцати-двадцати двух. Среднего роста, крутобедрая, с бедовым взглядом зеленоватых глаз, она насмешливо глядела на него и слегка, будто с укоризной, покачивала головой. Потом вдруг спросила:

— Ну что, жених, в штаны не наложил? — и рассмеялась коротким нервным смешком.

— Как звать тебя? — тоже силясь улыбнуться, разжал зубы Борис.

— Настей. А что, иль в самом деле посвататься хочешь? Попробуй. Может и отломиться. Парень ты вроде ничего. Только оброс страшно. И худущий, как скелет.

— Спасибо, Настя! — уже без улыбки, одними губами прошептал Борис и снова впал в беспамятство.

III

Гродненский уезд, занимавший солидную территорию Западной Белоруссии, по прихоти гитлеровских заправил был включен непосредственно в состав третьего рейха. Но это ничуть не убавило немцам ни забот, ни тревог. Народ белорусский оставался непокоренным, сопротивлялся «новому порядку» из всех сил. А тут еще партизанские отряды, что плодились один за другим — они буквально не давали немцам покоя, наводили ужас на всех, кто пробовал с ними сотрудничать. К концу 1941 года действия партизан приобрели в уезде настолько широкий размах, что гитлеровцы не на шутку сполошились и были вынуждены провести крупные карательные операции.

Но в то время, к которому относится начало рассказа, в уезде было относительно спокойно, партизаны особой активности не проявляли, и немцы, упоенные успехами на фронте, порою сквозь пальцы смотрели на появление в деревнях подозрительных, казалось бы, с их точки зрения, лиц и даже на действия отдельных партизанских групп и отрядов. Да если б они и захотели с ними что-либо сделать, в тот период в уезде для этого не было достаточно ни сил, ни средств. Тот же 91-й резервный полицейский батальон капитана Фауста, о котором пойдет речь, будет переброшен сюда позже, лишь в октябре, то есть тогда, когда немцам действительно станет невмоготу. Потому-то партизаны на первых порах, особенно в отдаленных селах, и чувствовали себя довольно вольготно, нередко, отложив оружие, превращались в обычных крестьян, помогая семьям, в которых не стало мужчин, по хозяйству: убирали урожай, поднимали зябь, ухаживали за скотом и т. п.

* * *

Первая встреча Бориса с партизанами произошла настолько буднично, что он даже не сразу это понял. Зайдя как-то к хозяйке и назвавшись жителями Крынок, идущими в Берестовицы «выправлять документы», они попросились у нее переночевать: дорога, мол, не близкая, а на дворе уже ночь. Было их трое. Первым двум — рослым, чубатым, похожим друг на друга — лет под тридцать, третий же — совсем мальчишка, больше шестнадцати не дашь. Сквозь щель в чулане Борис видел, как хозяйка, намеренно стуча мисками и горшками, накрыла им стол, а затем, пока те с завидным аппетитом уплетали сало и домашнюю белорусскую колбасу, приготовила в горенке постель. Но спать легли только двое, да и то не раздеваясь, третий же, один из чубатых, сославшись на бессонницу, вышел во двор и пропадал там едва ли не всю ночь. Под утро, отблагодарив хозяйку куском мыла, партизаны ушли.

В другой раз они заявились, когда хозяйки дома не было, а Борис, впервые встав с постели, мылся у рукомойника. Это были все те же — двое чубатых и мальчишка.

— Кто таков? — спросил тот, что казался старшим.

— Племянник хозяйкин. Хворый я.

— Документы есть?

Борис замялся.

— Ну! — нетерпеливо мотнул головой старший, и Борис вдруг увидел, как у него под пиджаком блеснуло дуло пистолета. Да и второй чубатый стоял сейчас далеко не в мирной позе: правую руку он держал в кармане куртки, чуть — полусогнутой. Лишь мальчишка, как ни в чем не бывало, разглядывал конфетные обертки, которыми была оклеена одна из стен в сенях. Борис, точно прозрев, вдруг улыбнулся какой-то нелепой улыбкой и спросил в свою очередь:

— А вы сами-то кто будете?

Чубатые переглянулись. Вопрос их явно озадачил. Лишь мальчуган продолжал заниматься своим делом. Наконец, один из них ответил нехотя:

— Из Крынок мы. В Брестовицы топаем. По делам.

— А эта игрушка для чего? — и Борис с той же улыбкой показал глазами на выглядывавший из-под пиджака чубатого пистолет.

Тот рассвирепел.

— От лихих людей, какие нынче по дорогам шляются. Вроде тебя. Понял? А ну — документ! Живо!

— А не то раз — и в дамки! — обещающе пожрав глазами, добавил второй и сделал недвусмысленный шаг вперед.

Борис секунду колебался, секунду, не больше, потом вдруг, словно ныряя в прорубь, бросился в чулан и через мгновение вернулся оттуда с автоматом в руках.

— Вот мой документ!

Чубатые переглянулись снова, но уже не без улыбки. Улыбнулся и мальчуган, оторвавшись наконец от картинок на стене.

IV

Первый чубатый — звали его Василием — оказался командиром партизанского отряда, разместившегося в соседних хуторах. Многочисленностью отряд не отличался, но ребята в нем были лихие, сорви-головушки, как на подбор. И все из военных: пехотинцы, артиллеристы, связисты. Один даже из авиации оказался. И тоже парень что надо. Лишь шестнадцатилетний мальчуган, по имени Петька, попал в отряд из гражданки, случайно. Уже в первый день Борис узнал, что он из Тулы, учился в ФЗО, война застала его под Белостоком, где он находился на практике, а потом строил аэродром. Брать Петьку в отряд сперва не хотели — материно молоко на губах еще не обсохло, да и на вид хлипкий, соплей перешибешь.

— Так что топай, орел, обратно,— отрубил ему Иван, второй чубатый, правая рука командира, когда Петька нежданно-негаданно появился в отряде.

— Куда же топать? — сник мальчуган, получив от ворот поворот.

— На кудыкину гору. А здесь тебе делать нечего. Не в бирюльки играем. Враз без головы останешься. А голова — не котелок каши. Она тебе еще пригодится. Да и оружия у тебя нет. Так что давай, разводи пары! Ну!

И Петька, проглотив обиду, не проронив ни звука, ушел. А через день заявился снова. И уже с парой гранат и старым кавалерийским карабином, которые он

«раздобыл» где-то у подвыпившего полицая. Это все и решило — в отряде на этот раз его оставили. И не жалели об этом. Петька оказался на редкость отчаянным и мозговитым парнем. И двужильным, несмотря на свой явно не богатырский вид. Другие, бывало, после ночного рейда с ног валятся, а Петьке хоть бы что, идет себе помаленьку, да еще других подбадривает. И еще у Петьки была страсть — рисовать. Рисовать все, что ни увидит. Особенно черкесов на коне. И в бурке. Правда, бумаги для этого не хватало, да и с карандашами было не богато. Тогда Петька наловчился рисовать углем. В том числе и на стенах хаты, где ему привелось жить с командиром. Больше того, когда Борис впервые переступил порог этой хаты, он увидел скачущих всадников не только на стенах русской, побеленной известью, печи, но и на подоконниках. Даже потолок — и тот не избежал творческого вдохновения юного партизана: на нем табунами ходили облака и черными лучами плавилось похожее на тыкву солнце. Иван, живший тоже в этой хате, не шибко-то одобрял Петькино вдохновение, даже как-то дал ему за это подзатыльник, но командир отряда, всем сердцем полюбивший мальца, осадил его:

— Не тронь, пусть рисует. Глядишь — художником станет.

— Сперва отвоеваться надо,— буркнул Иван.

— Одно другому не мешает. В общем — не тронь,— повторил командир и, чуть помолчав, раздвинул губы в скупой улыбке:— У мальца, друг Иван, это, может, единственная радость — рисовать. Понимать надо.

И Иван оставил Петьку в покое.

Странный, кстати, он был человек, этот Иван. То буйно весел, жизнерадостен, всем друг и брат, то вдруг, без причины, на него такое находило, что не подступись — за автомат хватается. Потом — есть у него табак, любой закуривай, крути цигарку хоть в палец толщиной, а иной раз, в лепешку расшибись, не выпросишь. Не дам — и весь ответ. И выпить был не дурак. Раздобудут ребята самогону — один полчетверти высосет. И не хмелеет. Только чуб ерошит. Зато в бою Иван — самому черту брат. Где опасность — там и он. Другой бы на его месте растерялся, пропал, а он — целехонек. Да еще трофей несет: то автомат, то гранату, то шинель

с ботинками. Один раз даже губную гармошку прихватил. От тоски, говорит, лекарство. Но поиграл, поиграл, да вдруг хвать ее об пол — и гармошки не стало. Жидка, дескать, у немцев музыка, то ли дело наша — русская трехрядная.

Прямой противоположностью Ивану был командир, Василий, хотя обличьем они и не разнились. У командира, несмотря на его сухость и даже суровость, было доброе, отзывчивое сердце, спокойный, ровный характер. Он редко повышал голос, говорил мало. Но слушались его беспрекословно. Даже Иван, вообще-то не особенно жаловавший дисциплину и всякое начальство.

Борис это почувствовал сразу, как только, едва встал на ноги, пришел в отряд. На первых порах на задания его не брали, пусть, дескать, окончательно поправится, жирку нагуляет. Да и время было неподходящее — шла уборка хлебов, и партизанам, жившим в основном по хатам, на харчах хозяев, пришлось, вместо винтовок и автоматов, взяться за серпы и косы. Борис тоже, как мог, помогал хозяйке: возил снопы, поил и кормил скотину, поставил на ноги свалившийся плетень, починил крыльцо и крышу. А заодно привыкал к верховой езде — таков был наказ командира. Настю в эти дни он почти не видел, она тоже с утра до вечера пропадала вместе с матерью в поле, на своем, единоличном теперь участке, нарезанном немцами, а когда появлялась, Борис, против своего желания, быстренько выпроваживал ее домой, в Плюскаловцы, так как видел, что она валилась от усталости с ног.

Лишь один раз, уже во время копки картофеля, они пробыли вместе всю ночь. И ночь эта, полная неясных и чуточку тревожных шорохов, запомнилась Борису пьянящим, вечно юным запахом трав, теплом близкого человека и светом падающих с неба звезд.

А на утро — приказ: выступать всем отрядом. Оказывается, в одной из дальных деревень, в районе Карповцев, немцы, в ответ на убийство управляющего имением, согнали человек десять подозреваемых, в том числе двух женщин, в здание бывшей школы и грозятся здание поджечь, если те не сознаются и не выдадут непосредственных «убийц». Сообщил об этом Василию примчавшийся оттуда паренек. Он и отряд вызвался туда довести.

— Только скорее, дяденька,— торопил он и тер, чтоб не заплакать, кулаками глаза.— Не то поздно будет. Всех пожгут. И мамку...

— На коне ездить умеешь? — не утешая, погруженный в свои мысли, спросил командир и, получив отрицательный ответ, повернулся к Ивану.— Бери его с собой. Твой Следопыт (так звали жеребца Ивана) и двоих выдюжит.— Потом с подбадривающей улыбкой посоветовал Борису:— Стремена чуток опусти. А то мозоли набьешь, на этом самом месте...

Борис полиловел от смущения. Да и конь под ним не шибко радовал его сердце. Так себе конишко, явно не рысак. Еще вчера он возил на нем картошку, а сегодня вот приходится в поход выступать. И хозяйку жалко, на целый день, а может и навовсе, без коня остается. Кто знает. Время же горячее, уборка. Без коня не обойтись. Еще когда он выводил его из конюшни, она скорбно поджала губы, не гоже, дескать, так-то вот. Это сердцем. А разумом понимала — надо. Для дела. Даже заседлать помогла. А чуть Борис отъехал от ворот, догнала, сунула ему краюху хлеба со шмотком домашней колбасы, спросила:

— Ждать когда? Скоро ли?

— Кто знает, мамаша,— уклончиво ответил он, потом спохватился, добавил с улыбкой:— К утру, должно,— и дал коню повод.

Вот и дождался Борис Пахомов того дня, когда вместе со всеми, равный среди равных, занял свое место в боевом строю отряда. И хоть пороху до этого понюхал предостаточно, волновался. Что ни говори, а в партизанских налетах, да еще верхом на коне, участвовать ему не приходилось. Но ничего, не боги же горшки обжигают, не подкачает и он, сумеет доказать, что парень тоже не робкого десятка. Лишь бы вот конишко не подвел. Но конишко, вопреки его ожиданиям, повод чувствовал хорошо, бежал резво и неутомимо.

К деревне прискакали лишь под вечер. Была она небольшой, дворов в сорок, облепивших левый берег прямого в этом месте, как стрела, ручья. На ее единственной улице — ни души. Школа стояла чуть на отшибе, возле леса, фасадом к деревне. Солнце еще не зашло, и Борис, вместе с Иваном высланный в разведку, уже пешим порядком, увидел возле нее двух немцев.

Один из них, сидя на крыльце, играл на губной гармошке что-то протяжное и грустное. Борису показалось даже, что похоронный марш. И с мстительной радостью подумал: в самый раз. Второй прохаживался рядом. Остальные немцы располагались в другом конце деревни, в доме солтуса.

Командир, выслушав их донесение, тут же разделил отряд надвое, приказал: первому, пешему, во главе с Иваном, по возможности неслышно снять часовых возле школы и освободить заложников. Второй отряд, который он поведет сам, тем временем в конном строю атакует избу солтуса. Если мальчуган не ошибался, немцев там не больше десяти. Это, кстати, подтверждали пять мотоциклов, стоявших у ворот. Не то их было б больше.

Борис обрадовался, что вместе с Петькой попал в пеший отряд Ивана — плохой пока из него был кавалерист. Сдав гнедка, он еще раз проверил оружие и по сигналу командира вместе с товарищами пошагал к деревне. Вот и школа. От леса — рукой подать. И немцы на месте. С гармошкой — все так же на крыльце, второй — возле бродит, видно, слушает, а может подпевает.

— Гармониста беру на себя,— шепнул Иван Борису.— А ты кончай второго, длинного,— и, наказав остальным партизанам до сигнала из леса пока не высовываться, пополз первым.

План Ивана был необычно прост. Выйти, точнее, подползти к школе с задов, где немцев, он убедился, не было, и оттуда, с двух сторон, напасть на них. А доползти до школы не так уж трудно и опасно, в этом им должен помочь кустарник и огород. Но все равно ползли не спеша и осторожно, то и дело замирая или, как говорится, зарываясь в землю, когда казалось, что немцы их вот-вот обнаружат. В эти короткие и мучительные передышки Борис слышал, как сильно и часто бьется в груди сердце. И еще — унылое, как панихида, пиликанье немца на гармошке. Других звуков не было.

Благополучно достигнув заднего крыльца школы, Иван, дав знак, повернул вправо, в обход, Борис — влево. И, почти одновременно выглянув из-за противоположных углов, обменявшись короткими взглядами, кинулись на немцев. Теперь Борис уже не слышал ни

стука собственного сердца, ни пиликанья гармошки. В этот короткий миг он видел только зеленого сукна пилотку и аккуратно выбритый, без единой складки, затылок стоявшего к нему спиной немца. Удар прикладом — и тот обмяк, точно бы костей лишился: хватаясь за грудь, как при сердечном приступе, он сперва согнул ноги в коленках, качнулся влево, вправо, а затем ткнулся лицом в приступок крыльца, на котором, неестественно раскинув короткие ноги, уже лежал гармонист, тоже с разбитым черепом. И в тот же момент Борис снова услышал игру на гармошке. Вот чертовщина! Уж не мерещится ли? Нет, ему не померещилось. Это Иван, подобрав упавшую на крыльце гармошку, заиграл на ней «камаринскую». Борис ахнул, потом, опомнившись, бросился сбивать с дверей замки.

А по улице молча, без единого крика — только глухо гудела земля,— уже лавиной неслась конная группа Василия. Вскоре оттуда донеслась частая пальба из винтовок и автоматов, глухие разрывы гранат, крики и вопли обезумевших немцев. Потом шум и выстрелы постепенно смолкли, и Борис опять услышал, как сильно и часто бьется его сердце, и как скрипят половицы на крыльце под ногами хлынувших из школы, еще не совсем поверивших в спасение, людей.

Через час, дав отдых коням и наказав освобожденным как можно скорее покинуть деревню, укрыться где-нибудь подальше, Василий выслал вперед дозор и повел отряд обратно, на хутора.

V

Через неделю отряд пополнился еще двумя бойцами, и как его командир не был скуп на чувства, открыто этому порадовался. Еще бы! Первый, красноармеец срочной службы, оказался пулеметчиком, второй, уже немолодой, чуток прихрамывающий,— политработником. Оба были ранены, обоих выходили местные жители. Они, жители, и вместе их свели. А после на партизан намекнули: есть, мол, в районе Берестовиц лихие ребята, не худо бы и вам к ним примкнуть. Сперва боялись: как бы впросак не попасть, а когда слух о налете на деревню и освобождении заложников распространился по уезду, решились.

Таким образом, отряд Василия, как и положено в таких случаях, заимел своего комиссара[1] и пулеметчика. Правда, пулемета у партизан пока не было, и это дало повод Ивану язвительно заметить, что новоиспеченному народному мстителю стрелять по немцам придется из охотничьей берданки горохом. Но тот нисколько не обиделся, ответил миролюбиво:

— Пулемет найдется, если надо. Схожу — и делу конец.

— Куда? — встрепенулся командир.

— В Голынку. Я его там в овражке припрятал. Надежно. До поры до времени. Еще летом, когда один остался. Куда, думаю, мне его одному. Вот и припрятал.

— В Голынке — комендатура,— раздумчиво, как бы про себя, заметил командир.

— Волков бояться — в лес не ходить.

— Так-то оно так...

Командир опасался не зря. После Берестовиц Голынка была довольно крупным селом, и немцы расположили там комендатуру. Да и полевая жандармерия наведывалась туда частенько, особенно после дерзкого налета партизан на деревню в районе Карповцев. Больше того, немцы повсюду расклеили объявления, в которых сообщалось, что за выдачу или поимку партизана населению будет выдано «вознаграждение в сумме 1000 марок».

— Дешево же они нас ценят,— язвили на этот счет в отряде.— Ну да придет время — накинут...

Короче, идти в Голынку за пулеметом было небезопасно, но рискнуть все же стоило и, командир, посоветовавшись с Иваном и комиссаром, дал, наконец, пулеметчику «добро», выделив ему в помощь Бориса с Петькой.

— Дразнить немцев зря нечего, пойдете по одиночке,— приказал он.— Там, на месте, и встретитесь. Пуле-

---

[1] Позже капитан Фауст донесет доктору Плетцу, что «этой партизанской частью руководит один офицер Красной Армии и один советский комиссар». И далее: «Общая организация групп, как их вооружение и одежда, носят чисто военный характер». В последнем, конечно, немцы ошибались, единой формы одежды у партизан не было.

мет, ежели цел, разберите, несите по частям. В чем угодно, хоть в подоле. Ну, с богом!

Когда партизаны направились к выходу, вслед за ними поднялся и комиссар. Прихрамывая, подошел к командиру, нерешительно попросил:

— Может, и мне с ними. Все веселее будет. А то за два месяца все бока отлежал. Размяться надо.

Василий понял, что комиссару не терпится показать себя в деле, пусть даже в небольшом, и легонько, не обидно для того, улыбнулся, подумал: «Знает, с чего начинать». А вслух, как можно мягче, проговорил:

— Не спеши, комиссар. Тут резвые ноги нужны, а из тебя ходок, видать, пока не дюже крепкий. Нам с тобой и здесь, на хуторе, дел найдется. В общем, садись. А вы, ребята, ступайте. Да, смотрите, без пулемета не возвращайтесь.

— Будет выполнено,— ответил за всех Борис и, кивнув Петьке с пулеметчиком, первым вышел из избы.

Чтобы не вызвать у немцев подозрений, в Голынку идти партизанская троица решила не сразу, а под вечер, но с таким расчетом, чтобы у оврага быть засветло, не то могли и не отыскать его, с другим перепутать. Договорились: первым отправляется пулеметчик, за ним — Петька.

— А я после, как чуть смеркнется, подойду,— закончил Борис, и каждому, в том числе и ему самому стало ясно, что именно он, Борис, будет в этот раз за старшего, ему, значит, и карты в руки.

Пулеметчик даже взял под козырек, хотя на голове у него был самый настоящий гражданский картуз, и коротко ответил «есть».

— А вот это, дядя, уже напрасно,— остановил его Борис.— Запомни: сейчас ты не боец Красной Армии, а просто житель Клюковцев и разыскиваешь отбившегося от стада бычка-годовичка. Понял? С белой звездочкой на лбу и кривым правым рогом. Дошло? Вот и хорошо. И больше не тянись. Да, вот еще что: мешки не забудьте. А я, пожалуй, грибную корзину возьму. У хозяйки видел, в чулане висит. Подходящая корзина. Не то что пулемет, пушку спрятать можно.— И, еще раз уточнив время и место встречи, Борис заторопился к дому.

Хозяйка встретила его с лукавой улыбкой, на немой вопрос пояснила:

— Настя заходила. В Голынку направилась. К тетке. Хотела тебя видеть, да я не знала, где ты. Обедать будешь?

— Не откажусь. А давно ушла?

— Не так чтобы...

Наскоро пообедав, Борис прошел в чулан. Корзина висела на месте. Вытряхнув из нее какое-то тряпье, проговорил так, чтобы услышала хозяйка, принявшаяся убирать за ним со стола.

— По грибы думаю сходить. Не велика будет?

Хозяйка заглянула в чулан.

— В самый раз, если на хорошее место попадешь. Только что ж поздно? Не с утра?

— Дела были. Да я недалеко. Значит, не возражаете?

— Зачем возражать? Пирогов испеку. Пожарю. Правда, муки нет. Одно зерно. Смолоть некогда. Да не беда. У соседки спрошу. У нее, кажись, есть. Не откажет,— заверила добрая женщина и проводила Бориса ласковым материнским взглядом до самых ворот.

Солнце клонилось к западу, тени становились длиннее, а когда, обогнув Голынку, Борис пришел в условленное место, на землю уже легли сумерки. Однако ни Петьки, ни пулеметчика на месте не оказалось.

«Неужто фрицы сцапали?» — враз похолодел он и опасливо глянул по сторонам. И точно — метрах в двухстах от себя, там, где овраг круто сворачивал влево, он увидел немца. Немец стоял на склоне, отставив одну ногу назад, слегка сгорбившись, точно намереваясь боднуть кого-то, а когда Борис пригляделся получше, похолодел еще больше: перед немцем, что-то, верно, объясняя, понуро стояли Петька и пулеметчик. Сразу их разглядеть мешал высокий кустарник. «Все пропало»,— упав духом, решил Борис и хотел было уже сигануть в кусты погуще, но не сделал этого, остановился. И тут же кольнула мысль, кольнула в самое сердце, и он даже привстал на цыпочках, чтобы еще раз убедиться в этом. Точно. Немец был один. Больше вроде никого нет. Так чего ж тогда раздумывать? Действовать надо! И Борис, неторопливо отложив корзину в сторону, еще раз метнув быстрый взгляд по сторонам, начал осторожно, чтоб ненароком не хрустнула под ногой ветка, подходить

туда, к своим друзьям и немцу. Оружия, кроме кухонного ножа, который ему дала хозяйка для сбора грибов, у Бориса не было. Не было его, он знал, и у пулеметчика с Петькой — таков был приказ командира. «Ну да ладно, лишь бы он, стервец, не обернулся, не заметил,— молил бога Борис, по-звериному неслышно передвигаясь от дерева к дереву.— Не то полыхнет из автомата — и конец». Но немец, видать, и не помышлял об опасности, наоборот, продолжал что-то еще более воинственно выкрикивать и показывал партизанам рукой в сторону села — шагом марш, дескать, в комендатуру, там разберемся, что вы за люди. Борис понял: надо спешить, иначе будет поздно, и, уже мало думая об осторожности, поддал шагу. Под ногой хрустнула ветка — не заметил. Загреб сапогом кочку — не беда. Лишь бы успеть. Вот до немца осталось десять, затем пять шагов, вот он уже совсем рядом: длинный, по-прежнему сгорбленный, с косо пришитым хлястиком на шинели — и Борис, в последнюю минуту передумав пускать в ход нож, сунув его в голенище (сознанье подсказало, что Петька с пулеметчиком уже насторожились, все видят, только вида не показывают: не испортить бы!), вдруг мягко, словно собираясь обнять, схватил немца за горло. Ощутив мгновенно вздувшиеся на шее вены, скользнувший к подбородку кадык, рванул его на себя. И тут же вес его почувствовал — согнув ноги в коленях, немец пятипудовой гирей потянул Бориса к земле. Значит, спекся голубок, отвоевался. Но, оказалось, не совсем. Когда, уже все трое, они оттащили его в сторону, в небольшую, осыпавшуюся по краям яму, немец вдруг открыл глаза. Пулеметчик с Петькой перестали дышать, выжидающе глянули на Бориса. Борис брезгливо дернулся, потом, отворачиваясь и не глядя, протянул пулеметчику нож...

На небо уже вползла луна, когда, наконец, отыскав пулемет, уложив его по частям в мешки и корзину, они отправились обратно. Борис опять шел последним. Несмотря на в общем-то благополучный исход операции, он чувствовал себя далеко не героем, наоборот, на душе было мутно, к горлу подступала тошнота, словно наглотался какой-то дряни. И почему-то знобило. Он несколько раз останавливался, присаживался на корзину, чтобы придти в себя, оклематься, но ничего не помогло. Тошнота не проходила. И знобило по-прежнему, хотя вечер

был тихий и теплый. «Значит, заболел,— решил Борис и тут же ужаснулся этой догадке.— Если лихорадка — пропал. Не дойду». И в самом деле, идти становилось все труднее, а потом и вовсе невмоготу — ноги, точно свинцом налились, не слушались и на каждом шагу разъезжались, как у недельного теленка. Да и корзинка с автоматом, доставшимся от немца, тянула вниз, и Борис, доковыляв с грехом пополам до какого-то ручья, не выдержал и буквально растянулся на его бережку, всего в пяти-шести шагах от дороги. Его тут же начало безудержно рвать, корежить судорогами.

И вдруг — знакомый голос над головой:

— Никак упился?

«Настя»,— догадался Борис и, вытерев рот пучком травы, повернул к ней бледное, без единой кровинки, лицо. Губы его кривились, зубы выбивали дробь.

— Откуда ты?

— Из Голынок. К тетке ходила. А ты?

— По грибы. Видать, ядовитый съел. Вместо сыроежки. Пройдет. Помоги — не подняться.

Но как ни силился, ни напрягался, подняться он не мог.

Настя в отчаянии всплеснула руками.

— Что же мне с тобой делать? Вскорости солтус подъедет. И немцы с ним. Я в волостной управе была, видела, как он собирался.

— Ну и что?

— Как — что? — возмутилась она.— Ведь у тебя ружье,— показала глазами на брошенный возле корзины автомат.— И в корзине грибов нет. Тоже, небось, оружие?

— Не твое дело. И не кричи,— уже нахмурившись, сурово проговорил Борис и вдруг приказал: — Корзину оттащи в лес, подальше. И автомат.

Настя же с места не двинулась, стояла как оглушенная. «Значит, вправду оружие. Вот окаянный!»

— Ты что? — уже не сдерживаясь, переходя с шепота на голос, жестко повторил Борис.— Не слышишь? Ну, тащи. Да поскорее! Кому говорят! Не то и себя и меня погубишь...

На этот раз Настю точно пчела ужалила. Подхватив автомат и корзину — и тяжелющая же! — она прямо через ручей бросилась в лес, подальше от дороги. И

вовремя — едва вернулась обратно, еще не успела отдышаться, как на повороте, со стороны Голынок, показалась подвода солтуса. И немцы с ним. Двое. Хорониться, конечно, уже не было смысла, поздно, и Борис, шепнув Насте «перепил я, ясно», опять ничком лег на землю. И в самом деле он походил на пьяного — картуз в стороне, волосы взъерошены, бледный и перепачканный,— и солтус, поронявшись с ним, раскатисто захохотал, явно подыгрывая немцам и в то же время стараясь не особенно обидеть Настю. Знал, что язык у девки, что бритва. К тому же шабра, соседка, значит. Зачем ссориться. Немцы тоже рассмеялись, залопотали что-то по-своему, не сводя с Бориса смеющихся глаз.

Настя растерянно глянула на них, потом на Бориса и вдруг, не сдержавшись, проговорила с глухим раздражением:

— Чего смеетесь, окаянные? Ну, перепил малость человек. С кем не бывает. С непривычки это. Вы ведь тоже, господин солтус, закладываете. Знаю, видела...

Солтус покосился на немцев, ответил с обидой, но степенно:

— Пьем, это натурально. Но соблюдаем себя. Меру, значит, знаем.

— Ведро — ваша мера,— отрезала Настя и вдруг, решительно шагнув к нему, без обиняков заявила: — Забирайте его с собой, а то я с ним и до утра до дому не доберусь,— хотя и знала, что солтус ни за что на свете не возьмет Бориса на подводу: пожалеет лошадь — не казенная, дескать...

И верно, солтус перестал улыбаться, проговорил с явной обидой:

— У вас — гулянка, а мне надо службу справлять. Дела. И вот товарищей, то есть господ немцев подвезти. Да и кобыла у меня жеребая,— и, подобрав вожжи, он вдруг с такой яростью огрел кнутом бедное животное, что кобыленка прямо с места взяла в галоп. Немцы, едва не свалившись с телеги, захохотали.

«Вот эти-то уж точно под хмельком»,— решила Настя, а когда стук копыт и грохот колес вскоре замерли, проговорила с радостным наслаждением:— Чтоб ни дна вам, ни покрышки,— потом повернулась к Борису:— Уехали, слава тебе, господи.

Борис вяло улыбнулся, потом, закрывая глаза, попросил:

— Воды б попить. Опять мутит. Мочи нет.

Настя метнулась к ручью, попробовала набрать воды в пригоршню — не получилось. Тогда сняла с головы платок, набрала в него. Борис с жадностью выпил. Потом еще — и его снова начало рвать, уже одной водой. Настя, ломая руки, металась между ним и ручьем, не зная, что делать, чем помочь ему. Но помочь было нечем — то сдали, не выдержали нервы. Катаясь в судорогах по траве, роя под собой землю, Борис все так же, как это было час назад, в действительности, отчетливо видел перед глазами назойливо сутулившуюся спину долговязого немца, чувствовал его вес, а на пальцах — вздувшиеся на шее вены и острый, упругий кадык...

Легче Борису стало лишь спустя час, и Настя снова воспрянула духом. Не слушая его возражений, дав ему только автомат, она закинула себе на плечо корзину и скомандовала:

— Пошли!

Когда на хуторе Ивана Гришука пропели третьи петухи, Борис, предварительно распрощавшись с Настей (она пошла домой, в Плюскаловцы), докладывал командиру:

— Задание выполнено. Потерь нет. Трофей — автомат.

Василий мягко положил ему на плечо руку.

— Знаю. Иди отдыхай. Тебя уж и хозяйка заждалась.

И верно, когда он, разувшись на крыльце, чтобы неслышно юркнуть в чулан, где стояла его койка, приотворил в избу дверь, хозяйка сидела возле окна, подперев рукой щеку. Увидев Бориса, она строго оглядела его с ног до головы.

— Вернулся, полуночник?

— Вернулся, мать.

— А грибы где?

— Нету грибов, мать,— тихо ответил Борис.— Давай спать.

VI

Разматывал вереницу дней пятый месяц войны, а в отряде так и не знали, как и чем живет белый свет. Знали лишь, что делалось в уезде, то есть у себя под носом,

а дальше — тайга непроходимая. Правда, немцы на каждом перекрестке — печатно и устно — кричали, что Красной Армии вроде уже нет, что «белокаменная» пала, сдалась на милость победителям, что и войне-то скоро конец, но партизаны этим басням веры шибко не давали. Но задумывались. Крепко, до звона в ушах. Как дальше быть? Что делать? Иные предлагали все бросить и пробиваться к своим. Ночью, лесом, болотами — как угодно, только к своим. Но таких было немного. Да их и не слушали, понимали, что к своим пробиваться уже невозможно, поздно, что отряд еще по дороге немцы разгромят. А здесь они уже обосновались крепко, население их узнало, во всем поддерживает.

— Уходить нам отсюда некуда, да и незачем,— както при случае заявил командир под общее одобрение.— Как-никак, а мы здесь — единственные представители Советской власти. От имени этой власти мы будем и дальше действовать!

И верно, именно в лице партизан местные жители видели свою, единственно законную власть и, несмотря на запугивания немцев, их многочисленные репрессии, всячески ее, эту власть, поддерживали. Уж на что Борис, кажется, недавно прибыл в отряд, но и он уже воочию убедился, что они охотно давали ему и его боевым друзьям и кров, и еду, несли им, при случае, свои заботы и хлопоты. Один старик даже с жалобой на свою сноху к командиру отряда пришел: с немцем, дескать, спуталась, управы на нее не найдет. А взять коней. Вроде не было их в отряде, а потребуется — хоть целый эскадрон сажай. Местное население их партизанам одалживало с охотой. Потому-то отряд, при необходимости, уже через час — другой мог быть в нескольких десятках километров от своего расположения. Кстати, в условиях Белоруссии, особенно в бездорожье, это было огромнейшим преимуществом перед немцами, которые конных отрядов в уезде вообще не имели. А потом осторожный Василий в целях безопасности, чтобы не навлечь беду на окрестных, приютивших их жителей, предпочитал действовать где-нибудь подальше от хуторов, где о партизанах пока не знали. Бывало так: выезжает конная группа поздно вечером, когда все спят, сделает свое доброе дело где-то километрах в двадцати — тридцати отсюда, а утром — уже дома. Вроде бы все тихо и спо-

койно, словно и не было бешеной ночной скачки по лесным дорогам, свиста пуль и разрывов гранат, предсмертных воплей не ожидавших налета немцев. Порою и хозяин иной, придя на зорьке в конюшню дать своему воронку овса, не сразу догадается, что за ночь его скакун побывал ой как далеко от дома. А догадается — воронок-то как-никак потный, тяжело боками водит — только ухмыльнется в бороду и скажет про себя: «Послужил, значит, Советской власти. Ну и хорошо». Да еще двойную меру овса даст. Вроде как за службу партизанскую...

Борис все видел это, больше того, на себе испытал, перечувствовал (сколько трудов стоило местным жителям только его одного выходить, от немцев уберечь!) и все же не переставал этому удивляться. «Как так? — не раз думал он.— Ведь при Советской власти эти люди и двух лет не прожили, по сути дела и распробовать-то ее как следует не успели, а держатся за нее покрепче, чем иной ребенок за материн подол? И немцев не боятся, порою на явный риск идут. В чем дело? Почему так?»

Вот и сейчас, придя на соседний хутор одолжить на время коня (в ночь предстояла операция), Борис опять несказанно удивился, когда хозяин — сухонький, благообразный, но еще крепкий старик — без слов вывел ему из конюшни своего гнедка, помог заседлать, а вдобавок предложил еще брезентовую куртку.

— Вона как льет,— пояснил он, показывая скрюченной рукой на плотную завесу дождя.— До нитки вымокнешь. Дорога-то, верно, дальняя?

— Дальняя,— подтвердил Борис, но от куртки отказался,— не гоже, дескать, злоупотреблять гостеприимством.

— А я говорю— бери! — уже строже повторил старик.— Куртка добрая. Сын носил. Охотник он у меня. Бывало, дичи нанесет — видимо-невидимо. И зверья всякого. Надевай, говорю, а то вымокнешь!

Борис, недоуменно покосив плечом, надел. Куртка оказалась впору. Только длинновата чуток. И, не переставая дивиться заботливости старика, спросил о другом:

— Где он сейчас, ваш сын?

Старик нахмурил белесые брови, ответил тихо, словно самому себе:

— До войны служил в Молдавии. При орудии. Артиллерист, значит, батареец. А сейчас где — один бог ведает,— и, вдруг сузив глаза, зорко глянув ими в самые зрачки Бориса, добавил с серьезной и все понимающей улыбкой: — Может тоже, вот как ты, где-нибудь коня седлает...

Борис согласно кивнул.

— А может, и убитый,—вздохнул затем старик и поспешно перекрестился.

— Ну, убить нашего брата не так просто. Лоб под пули зря не подставим. Меня дома тоже, небось, давно схоронили, а я живехонек, ничего не делается.

Борис проговорил это явно в утешение старику, но чересчур бойко и торопливо, и старик в ответ лишь махнул рукой — не утешай, мол, чему быть, того не миновать, все под одним богом ходим,— и, пройдя к калитке, настежь распахнув ее, дал тому знак выезжать.

Но Борис сделал вид, что не понял его, полез в карман за кисетом. А когда закурил, вдруг положил на плечо старику руку и сказал, понизив голос:

— Хочу, дед, спросить, да не знаю, правильно ли поймешь меня? Не обидишься ли?

— Тогда не спрашивай.

— Нет, спросить надо,— и Борис, решительно кинув недокуренную цигарку под ноги, начал торопливо и сбивчиво объяснять, что волновало его все эти дни: отчего население, не страшась немцев, так решительно и бескорыстно поддерживает партизан, охотно дает им все, что только не потребуется? Ведь с Советской властью они лишь чуть-чуть познакомились, еще не успели познать ее до конца. И вдруг ясный и бесхитростный ответ старика ошеломил Бориса, тотчас же сделал все простым и понятным. А старик сказал немного, всего несколько слов. Сперва же спросил:

— Тебе сколько лет, сынок?

— Двадцать один.

— А мне уж под семьдесят. Значит, пожил много. Да только не жизнь это была, а каторга. В панской Польше нам, сынок, и дыхнуть не давали, в бараний рог скрутили. Вот в чем дело. Советская же власть по душе пришлась, полюбилась, потому что она за простой люд горой стоит. И глаза нам, сынок, на новую жизнь открыла. Уразумел?

— Вполне, дед,— стыдливо опустив глаза, признался Борис и, кинув свое тело в седло, огрев коня плетью, даже не попрощавшись со стариком, вымахнул за калитку.

Об этом разговоре Борис в тот же вечер, по пути на задание, поведал комиссару отряда (их кони шли рядом). Тот, беззвучно рассмеялся, потом сквозь кашель проговорил:

— Выходит, этот темный старик преподал тебе сегодня элементарный урок политграмоты.

— Выходит, так,— тоже с улыбкой согласился Борис.

* * *

Первый грузовик подошел к повороту чуть слышно — не по-осеннему крупный ливень душил все звуки. Мелькнула в свете фар одинокая часовня, затем придорожный, черный от дождя валун, нагие березки — и снова тьма, хоть глаз выколи. Но ненадолго. Вскоре, на этот раз уже заявив о себе сердитым рыком, у поворота показался второй грузовик, более мощный, накрытый тентом, и опять, точно вспугнутые, вынырнули из темноты в том же порядке часовня, валун и березки.

Борис, лежа почти у самой обочины, нетерпеливо тронул Ивана за локоть: не прозевать бы...

— Не пыли, пехота! — прошипел тот в ответ.— Подойдет ближе — тогда,— и смачно выругался.

Иван вообще любил ругаться. И при случае, и просто так, на потребу душе. Бывало, завернет трехаршинным — хоть святых выноси. Иным в отряде это нравилось. Лихой, дескать, парень. Борису же — нет. Но терпел, вида не показывал. Знал: с Иваном свяжешься — добра не жди. А вот командир отряда, Василий, его попрежнему привечает. За удаль, верно, за отвагу. А может потому, что обличьем схожи. Оба — рослые, чубатые, ни дать, ни взять — братья. А все же разные. Совсем разные...

— Огонь!

От неожиданности Борис вздрогнул, затем привычно откинулся назад, и, точно сорвавшись с пружины, вслед за Иваном запустил гранату прямо под радиатор катившего теперь совсем близко и чуть ли не на них грузовика. Еще не зная, попал ли, не слыша взрыва, швырнул другую, уже в кабину. И на дороге сразу стало светло.

Борис увидел, как грузовик, желтый в свете зарева, круто вильнул влево и вдруг, выбросив из-под задних колес ошметок грязи, ткнулся носом в кювет. А сейчас — слово автоматам. И в самый раз: из кузова скособочившегося грузовика, как горох из мешка, один за другим начали вываливаться немцы. Их каски в косых нитях дождя тускло поблескивали и, казалось, тоненько вызванивали. Борис нажал на спусковой крючок, и автомат забился у него в руках мелкой дрожью. Где-то рядом, слева, его тут же поддержал автомат Ивана, а справа — Петьки-туляка, того самого подростка, что когда-то в сенях у Бориса разглядывал конфетные обертки.

* * *

— Настя, ты опять здесь?

В голосе Бориса вроде бы упрек, а в глазах — неуемная радость. Еще бы, не виделись больше недели, а неделя для молодоженов — целая вечность, и он, стараясь не встречаться с взглядом командира, запретившего женщинам появляться в отряде, порывисто обнял жену.

Не думал, не гадал тогда Борис, что Настя, эта озорная, с бедовыми, в прозелень, глазами девчонка, нередко потешавшаяся над ним, станет его женой. А вот стала. И не без благословения того же командира отряда. Узнав, что это она по существу выходила Бориса, что они чуть ли не ежедневно встречаются, что их повсюду зовут женихом и невестой, он долго ходил хмурым, задумчивым, о чем-то горячо поспорил с Иваном, а затем отозвав Бориса в сторонку, спросил:

— У вас это серьезно?

— Конечно.

— И солтус знает?

— Даже немцы. На свадьбу напрашиваются.

— Тогда женись. Делу это не помеха. Скорее — наоборот.

Борис тогда еще жил у старой хозяйки, а это становилось не безопасным. Немцы разыскивали ее мужа, сельского активиста, и ненароком могли зацепить и его. А там и до отряда добраться. После же женитьбы Борис вполне мог ехать к жене в Плюскаловцы. У Насти с матерью там дом, хозяйство. И от всевидящих немцев подальше.

— Словом, женись! — повторил командир.

Борис ухмыльнулся: легко сказать, женись. А где? Загсов теперь нет. Не в церкви же венчаться.

— А почему бы и нет? — возразил командир и, как бы кончая разговор на эту тему, добавил: — Венчайся! Грех этот я на свою душу беру.

И вскоре они обвенчались.

Но недолгим было их семейное счастье. Едва прошел медовый месяц, как Борис вынужден был оставить и дом, и жену, уйти на хутор Ивана Гришука, что за деревней Иодичи, в Кулаковском лесу: гродненский уездный комиссар доктор Плетц, обеспокоенный усиливающимися действиями партизанских отрядов, в том числе и Борисова, к тому времени вытребовал сюда из-под Гомеля 91-й резервный полицейский батальон. Его командир, капитан службы безопасности Фауст, уже имевший опыт борьбы с партизанами в Гомельской области, одним из опорных пунктов батальона как раз и выбрал район Берестовиц, и отряд Василия, до этого довольно долго чувствовавший себя в относительной безопасности, рассредоточенный в нескольких хуторах и деревнях, был вынужден собраться воедино и обосноваться подальше в лесу, на одиноком заброшенном хуторе.

Туда Настя сейчас и пришла.

— Ну и мокрый же ты, чисто водяной,— говорила она, помогая Борису стянуть куртку.— Переодевайся скорее. Я тебе и белье чистое принесла. Носки. Мама связала. А тут харч: хлеб, сало, колбаса...

— А самогонку, небось, забыла?

Это из соседней комнатушки подал голос Иван.

Настя кинула в его сторону колючий взгляд, съязвила:

— Не взыщите, запамятовала. Как-нибудь в другой раз,— и уже, не сдерживаясь, напрямик: — Вам бы все самогонку трескать.

Как и Борис, Настя тоже недолюбливала Ивана. Но совершенно по другой причине.

...Как-то придя на хутор навестить мужа, она не застала его: Борис был на оперции где-то под Белостоком. Зато повстречала Ивана. Иван любезно пригласил ее в комнату, угостил ею же принесенными пирогами с грибами, а потом... дал волю рукам. Настя залепила ему пощечину, а уходя, предупредила:

— Еще раз пристанешь, будешь иметь дело с мужем.

А с Борисом, знала, на этот счет шутки плохи. Изобьет в кровь. Да если и командир узнает, тоже по головке не погладит. Сказывают же, в одном отряде за это самое одного парня к стенке поставили. Недаром, что храбрец был, каких свет не видывал.

— Как добралась-то? — переодевшись в сухое, спросил, наконец, жену Борис.— Никто не заметил?

— Не должно. Я лесом шла. Дождь к тому же.

— Оно и хорошо. Как мама?

— Жива-здорова. Кланяться велела.

— Спасибо!

Через час, связав в узелок грязное белье, Настя засобиралась обратно. Борис проводил ее до опушки леса. На прощанье сказал:

— Ты уж сюда больше не приходи. Не положено.

— Да как же это так, Боренька?

— Я сам, при случае, наведываться буду. Кони теперь у нас добрые. Видела?

Настя судорожно обхватила его за шею, всхлипнула:

— Вся душенька изболелась. Сил моих нету. Сны вот нехорошие стала видеть. Боюсь я за тебя.

— Чего ж бояться?

— Война ведь...

— Война,— мрачно согласился Борис и вдруг, словно устыдившись минутной слабости, добавил беспечно: — Убьют,— схоронишь. И сообщишь, куда надо. Адрес-то цел?

— А как же. Я его на чердаке храню. Есть там у меня укромное местечко. Немцам ни в жизнь не найти.

— А если дом спалят? Ты ведь жена партизана.

— Я его и так помню: город Богульмин...

— Не Богульмин, а Бугульма. Это татарское название. В переводе на русский означает несгибаемый. Дальше!

— Улица Заречная, дом номер 15.

— Правильно. Ну, а теперь ступай, Настя.

— ...Бугульма. Улица Заречная. Как все это далеко теперь. Словно на другой планете. Сейчас там, поди, снег, ребятишки в снежки играют, на лыжах катаются. Борис тоже любил кататься. С малых лет. Только лыжонки у него были плохонькие, да и то на двоих с братишкой. Известное дело — безотцовщина. Отец умер, когда Борька еще в зыбке качался. Тогда многие умирали.

Голодный год был. Мать одна надрывалась. С утра до вечера. Всего-то трое их у нее на руках осталось. Все мальчишки. Только один вовсе хворый. Ему и на лыжи-то встать не довелось. Все постель да больницы. Умер. И мать умерла. Это уже когда Борису шестнадцать исполнилось. Так вот и опустел дом на Заречной, осиротел. Правда, нашлась душа добрая, отзывчивая — тетка Андреевна. Опекуншей стала. Вроде бы, как мать. А все же не то. И добрая и заботливая — а не мать. И ушел Борис из дому. В Донбасс, на шахты подался. Парень как раз один оттуда приезжал, больно уж занятно про шахтерскую жизнь рассказывал. Не жизнь, а малина. Вот и загорелся, не утерпел. Наскреб деньжат на дорогу — и на станцию. Как говорится, нашему поезду — два звонка. Понятно, молочных рек и кисельных берегов в Донбассе не оказалось. Но жить было можно. И не плохо. Главное же интересно. А потом и в армию подошел срок идти. Попал Борис в пехоту, в стрелковый полк. Под Белосток. Места тоже новые, занятные. И служба понравилась. Одним из лучших бойцов стал. Через год домой в отпуск собирался. Проведать, как там Бугульма и Казань-матушка поживают. Да вот не довелось.

...А в Бугульме сейчас, поди, зима. Ребятишки в снежки играют, на лыжах катаются.

VII

Выпал, наконец, снег и под Гродно. Партизанам он оказался даже на руку. Зима накрепко приковала немцев к жилью, а если они и передвигались, то только по главным, магистральным дорогам, которые расчищались силами местного населения. Отважиться же на вылазки в лес, туда, где сугробы достигали почти полутораметровой высоты и за каждым из них могла оказаться засада, они не решались. Да и мороз, ударивший вслед за снегопадом, поубавил у немцев прыти.

Партизанам же — раздолье, они почувствовали себя смелее, увереннее и старались теперь использовать любой удобный случай, чтобы не дать немцам спокойно греться у печек, наносили им удар за ударом.

...Лыжню прокладывать пришлось заново — выпавший за ночь снег сравнял все начисто — и Борис изрядно взмок, хотя ничего лишнего с собой не взял, отправился

в путь налегке. А путь был не близким, в Крынок, где, по слухам, не так давно расположилась одна из рот 91-го немецкого резервного полицейского батальона капитана службы безопасности Фауста. Даже если дорогой ничего не случится, он доберется туда лишь к вечеру, и потому спешил, без устали работал палками и, радуясь, когда впереди оказывался хоть небольшой спуск, и можно было чуток расслабить мышцы.

Накануне он был у Насти, у нее и заночевал, Настя истопила баню, и Борис с наслаждением помылся. Потом, после бани, они с Настей пили морковный чай с лепешками и долго разговаривали. Настя рассказывала о своем житье-бытье, о работе по немудреному, но хлопотному крестьянскому хозяйству, мягко попеняла ему, что он редко бывает дома, не показывался, считай, с осени.

Борис отшучивался:

— Вот кончится война, тогда из дому палкой не выгонишь. С детьми буду возиться. Много заставлю нарожать.

Настя стыдливо-радостно улыбалась и подливала ему в чашку чаю, ближе пододвигала тарелку с лепешками.

Борис прекрасно понимал, что Насте без него не легко, что ей приходится управляться в хозяйстве по существу одной, так как мать ее частенько прихварывала. А что касается его, Бориса, то какой из него работник, если он и дома-то бывает от случая к случаю, как красное солнышко в ненастную осень. Да и в крестьянстве он еще, как говорится, ни то, ни се, еле отличает грабли от вил. Правда, подготовить и засеять земельный участок озимыми он ей все-таки помог. Вместе с ребятами. Были в отряде такие, что, если б не война, от земли не оторвать, прирожденные хлеборобы. И сена на зиму для коровы запас. Тоже, конечно, не без помощи ребят. И все. Остальное оставалось лежать на плечах Насти. Даже дрова ей приходилось заготовлять самой. Так что намахалась топором — моченьки нету. И все же молодая женщина не чувствовала себя несчастной. Наоборот, замужество, хотя она и укладывалась на ночь в пустую постель, сделало ее жизнь полнее, осмысленнее. И одновременно беспокойнее. Беспокойство за мужа, как бы с ним не приключилась беда, больше всех, пожалуй, и заставляло ее забывать обо всем, что не имело к нему

непосредственного отношения, помогало перебарывать усталость, переносить невзгоды, связанные с жизнью в оккупации. А редкие встречи с мужем — это уже были праздники, тогда Настя буквально расцветала, старалась во всем ему угодить, чтобы Борис хоть на миг забыл об опасной партизанской жизни, отдохнул душой и телом. И изо всех сил потчевала его, чем бог послал. А «бог посылал» иногда не только мед, пышки, вкусную домашнюю колбасу и тому подобную снедь, но и корчажку бражки, которую Настя умела варить, как ни кто другой в округе. И лукаво посмеивалась, глядя, как Борис, не привычный пить, весь кривился, глотая из кружки это ее зелье.

Но вчера Настя была сумрачна, улыбалась редко. Хотя Борис не сказал, зачем ему понадобилось в Крынок, она догадывалась, что это — боевое задание и, верно, опасное, так как краем уха слышала, что там на днях обосновались немцы. Вспомнила: ее бывший школьный учитель тоже теперь живет в Крынках.

— Хороший человек,— как бы между прочим, сообщила она Борису, когда тот поднялся из-за стола.— Сапожным делом теперь занимается, обувь чинит. Заказчиков у него, говорят, пропасть, почти весь район. Может, и ты себе сапоги у него закажешь? За пуд муки, я думаю, сошьет,— и Настя, не дожидаясь его согласия, направилась было в чулан, к сусеку с мукой, но Борис жестом остановил ее.

— Как-нибудь в другой раз, ближе к весне,— пояснил затем он.— А к учителю этому я так и так зайду. Василий наказывал его проведать и кожу занести. Они, оказывается, старые знакомые,— и показал глазами на небольшой заплечный мешок, прислоненный к стенке возле порога.

— А больше там ничего нет? — тихо и с опаской глянув на дверь, подозрительно спросила Настя, и Борис, чтобы ее успокоить, чистосердечно вытряхнул содержимое мешка на пол. Кроме свертка кожи, там, действительно, ничего не было, и Настя успокоилась. Но когда легли спать, слышал, как она долго ворочалась и тяжело вздыхала.

Вот об этом почти всю дорогу и думал Борис, уминая лыжами снег, а когда показался Крынок, не выходя из леса, сел на пенек передохнуть и собраться с мыслями.

Школьный учитель Насти, к которому он шел, партизаном, а тем более подпольщиком не был, но кое-какие услуги «парням из леса» все же оказывал. Василий, командир отряда, знал его хорошо еще с довоенных лет, когда служил в этих краях на действительной. Это был сухой, мало разговорчивый, даже желчный с виду, старик, одиноко живший в просторной пятистенной избе на главной улице. Знакомств он ни с кем не водил, людей сторонился, хотя в заказчиках отбоя не было: они торчали у него вечно: одному надо было подбить каблук, другому сделать набойки, третьему подшить валенки — и так без конца. Он никому не отказывал, делал на совесть, за работу много не запрашивал, обычно довольствовался тем, что давали — стакан крупы, краюху хлеба, меру картошки и т. п. Тем и жил.

Борис все это знал из рассказов командира и, еще раз продумав, как он будет себя вести с ним, норовя держаться побеспечнее, вошел в село, никем не остановленный. Дом учителя был приметным, и отыскать его не составляло особого труда, но когда Борис, благополучно миновав часового возле здания напротив (сообразил: комендатура или волостная управа), взошел на крыльцо, едва не бросился назад и не испортил все дело: в доме были немцы. Человек семь: кто чистил оружие, кто спал, а двое, без френчей, в нижних рубахах, возились возле печки, откуда вкусно пахло жареным мясом с картошкой. Посыпались вопросы: кто, куда, зачем, откуда? И хотя документы у Бориса были в порядке, оружия при себе не было, когда отвечал, голос изменил, словно на языке вскочил чирей.

— Сапоги, говоришь, понадобились? — возвратив документы, все еще подозрительно переспросил его один из немцев на довольно сносном русском языке.— А материал есть? Кожа есть? — и, зайдя сзади, энергично протянул руку к мешку, что висел у Бориса за плечами.

Тот, уже придя в себя, поспешно снял мешок, развязал тесемки и, оценивающе помяв пальцами заготовки передов и голенищ, ответил не без обиды:

— Как же без кожи! Нешто без кожи сапоги стачаешь, господин солдат! Кожа — первый сорт. Казенной выделки. Пуд муки пришлось отдать, да ведер пять картошки. За деньги такую теперь не купишь. Кожа, что

надо, в самый раз. Только, выходит, зря пришел. Хозяина-то не видно.

— Теперь мы тут хозяева,— блеснув вставным металлическим зубом, многозначительно ответил немец, видно, наслаждаясь своим превосходством над этим забитым русским парнем в плохонькой одежонке, каким ему показался Борис.— Мы тут хозяева, — повторил он, словно одного раза было недостаточно.

Борис быстренько сообразив, как ему держаться, сделал шаг назад и недоумевающе протянул:

— А он что же, старик этот самый, сапожник? Выходит, помер? — и, как бы приглашая немца в свидетели, поискал глазами образа, чтоб перекреститься. Но образов не было, и он виновато улыбнулся, одновременно насилуя мозг, как бы ему отсюда половчее выбраться. «Вот занесла нелегкая»,— мучительно думал он, глядя на немца ясным невинным взглядом младенца и с тревогой ожидая, что тот сейчас выкинет против него: и впрямь ведь хозяин, сила на его стороне...

Но немец, к его величайшему изумлению, оказался большим шутником, если не больше. Не ответив на вопрос, наскоро переговорив по-своему о чем-то с заулыбавшимися товарищами, он вдруг предложил Борису сыграть партию в шашки.

— На кожу,— подергиваясь от предстоящего удовольствия, добавил он.— Проиграешь — кожа моя.

— А если выиграю, господин солдат? — сразу же перешел в наступление Борис, так как ничего другого ему по сути не оставалось.— Вы чем расплачиваться будете? — и тоже лихорадочно улыбнулся, только, в отличие от немца, вовсе не обидно, а скорее угодливо, словно собираясь и без игры отдать ему эту самую распроклятую кожу с мешком в придачу.

Немец, верно, не ожидал от него такой прыти, и сперва озадаченно потер висок, а уж потом проговорил нарочито медленно, будто взвешивал каждое слово:

— Ты, оказывается, смелый русский парень, если задаешь такой вопрос. Очень, очень смелый,— и уже непреклонно, с нетерпением: — Садись! — и, расставив на лавке миниатюрные шашки из пластмассы, сделал повелительный жест, чтоб Борис начинал первым.

Парень покорно сел и, искательно улыбаясь, с ходу запер немца «в сортир». И замер: сейчас тот озвереет и

схватится за автомат. Не он, так остальные, что, побросав свои дела, окружили их тесным полудужьем. Но немец, напротив, раскатисто захохотал и предложил сыграть еще раз. Борис сыграл и, увлекшись, опять выиграл. Немец захохотал еще громче и, словно боясь уронить себя в глазах победителя, намеренно замедленным движением достал из брючного кармана начатую пачку сигарет и с достоинством протянул ее Борису.

— Твоя взяла, как говорят русские. Кури на здоровье,— проговорил он с великодушной улыбкой и, не гася этой же самой великодушной улыбки, только чуть затемнив ее, вдруг добавил совершенно другим тоном, от которого Борису стало не по себе: — Играем в третий раз. Только за проигрыш будешь платить уже не кожей, а головой. Понимаешь, своей собственной головой!— И вскинул руки на уровень глаз, как бы целясь из автомата.— Пух-пух!

Двое немцев, видимо, знавшие русский, значительно улыбнулись, остальные продолжали хранить молчание, попеременно взглядывая то на своего сослуживца, то на Бориса.

Бориса же будто обухом по голове стукнули, и он далеко не сразу поднял на немца тоскливо-недоуменный взгляд и проговорил дрогнувшим голосом:

— Как же это — головой? Вы пошутили, господин солдат? Скажите, что пошутили.

Но немец, видно, не шутил, глаза его были зло сужены, в них горела такая жестокость, что Борису показалось: он и до игры, прямо сейчас, не колеблясь, всадит ему пулю в лоб. Короче, отказываться было бесполезно, но и решиться на игру у Бориса не хватало духу, и он, чтобы хоть как-то оттянуть роковую минуту, надрывно закашлял. Кашель получился вполне естественным, и это его несколько ободрило. А когда немец нетерпеливым жестом повторил свое приказание, пришел в себя окончательно. И решение у него уже созрело. Потому и ответил твердым голосом:

— Видит бог, не охота мне играть на таких условиях, но воля ваша, приходится,— и, поудобнее усевшись на лавке, чуток помедлив, как бы взвешивая меру риска, с тяжелым вздохом сделал первый ход.

Еще когда Борис вошел в избу и остановился у порога, ему бросился в глаза автомат, висевший дулом вниз

на крюке у входа. Автомат был с диском, явно заряженный (в боевой обстановке незаряженных не бывает), и если б тогда он поддался искушению или, на худой конец, панике, легко мог им завладеть. Правда, теперь автомат был уже не под рукой, а на расстоянии, до него было шагов пять, к тому же между ним и автоматом сейчас кучно стояли немцы (лишь двое из них как ни в чем не бывало продолжали спать в соседней, большей по размеру, комнате,— Борис краем глаза видел там их вытянутые на койках тела), но поскольку другого выхода не было, он на этот автомат, как на единственный шанс в случае проигрыша, сейчас и рассчитывал. Конечно, шанс был жидкий, ненадежный — один против пяти!,— но, как говорится, на безрыбье и рак рыба, и он, тщательно обдумывая каждый очередной ход в игре с коварным немцем, одновременно тщательно обдумывал и каждый свой предстоящий шаг от лавки до двери, где висел автомат, анализировал каждое свое будущее движение.

И расчет оказался точным.

Едва Борис почувствовал, что немец своими проигрышами в двух предыдущих партиях заманил его в ловушку, что еще два, от силы три хода — и ему крышка, он рывком вскочил с лавки и, пробив плечом брешь в живой стене, бросился к порогу, и немцы, не успевшие даже оторвать глаз от доски с миниатюрными фигурками, тут же оказались у него под прицелом.

— Хенде хох! — скомандовал Борис зловещим шепотом.— Ни слова! — и нащупал ногой дверь, чтобы было легче ее распахнуть.

На какое-то мгновенье в избе стало так тихо, что он услышал, как в соседней комнате, за перегородкой, оклеенной дешевенькими обоями, скрипнула койка. И еще, что запомнилось ему в этот короткий миг, это нестерпимо резкий запах, исходивший от печи, где жарилось мясо с картошкой. А потом, через секунду, избу шатнула длинная автоматная очередь — это уже Борис, опасаясь, что немцы в соседней комнате все-таки заподозрили неладное, что без стрельбы ему отсюда живым так и так не выбраться, решив не сдерживаться, с азартом нажал на спусковой крючок. Потом, даже не поглядев, попал ли,— во двор, уже изученный им, когда шел

сюда. Сориентировался мгновенно: справа от сарая — плетень, местами разобранный, верно, на дрова, и тропинка в огород, к бане, маячившей темной копной на иссиня-белом снегу. Измерив глазами расстояние — успеет! — он туда и припустил что есть духу. Оглянулся лишь у бани. И то на миг, когда услышал позади себя, во дворе, выстрелы и крики. Но немцы, вероятно, палили наугад. Во всяком случае, свиста пуль вокруг себя Борис не услышал. А за баней, шагах в пятидесяти,— уже чернел лес, и хотя тропинка кончалась здесь, у бани, а дальше сплошь лежала снежная целина, Борис, подстегиваемый страхом, и это расстояние преодолел в единый миг, не переводя дыхания. Больше того, он даже не сразу сообразил, когда через пару минут очутился под спасительной сенью деревьев, и долго еще продолжал бежать дальше, в чащобу, едва ли не по пояс увязая в снегу, пока не почувствовал, что задыхается. Заставив, наконец, себя остановиться, припав грудью к высохшей, почти без веток, сосне, он в изнеможении прикрыл глаза и долго прислушивался всем телом,— нет ли погони, хотя сознание и подсказывало ему, что немцы вряд ли отважатся последовать за ним в лес, да еще в такую сутемень. Потом, когда сердце вновь встало на свое место, он долго и жадно глотал снег, запихивая его в рот целыми пригоршнями, а как почувствовал облегчение, опять упрямо двинулся вперед, поминутно оглядываясь и прислушиваясь, не спуская зябнувшего пальца со спускового крючка автомата.

В отряд Борис вернулся лишь на вторые сутки, без лыж, оледеневший и голодный. По его подсчетам, он прошел расстояние вдвое больше, чем от Крынок до отряда — все выбирал места побезлюднее, глухие и тихие. Раз даже заплутался. А это опять лишние версты. Короче, помесил он снегу предостаточно, и когда докладывал командиру о своей, в общем-то удачно закончившейся одиссее, глаза его слипались от усталости.

А командир после этого долго еще сидел неподвижно и молча, только сутулясь больше обычного. Ему было совершенно очевидно, что разведка не удалась, что появление Бориса в Крынках только всполошило и насторожило немцев. Но больше всего его угнетало исчезновение учителя, на которого он рассчитывал в предстоящей операции. Не иначе, немцы каким-то образом

пронюхали о его услугах партизанам и законопатили в какой-нибудь застенок, пытают. А может, и расстреляли. Руки на этом деле они набили. В противном случае немцы не стали бы разыгрывать комедию с Борисом, устраивать эту глупую игру в шашки. Они, видимо, сразу же заподозрили в нем партизана, только прикидывались простенькими, авось, мол, кто-нибудь и еще подойдет.

Но так это было или не так, а налет на Крынок командир решил временно отложить. Осуществлен он был лишь спустя десять дней, когда там, в Крынках, после шумного визита Бориса, все успокоилось и пошло своим чередом. В этом налете Борис отличился снова. Буквально под носом у немцев он проскочил к комендатуре и, сняв часового, забросал ее гранатами.

А через неделю отряд Василия, уже в другом районе, подорвал на дороге два фашистских грузовика с солдатами.

С наступлением зимы активизировали деятельность и другие отряды. Где-то на подходе к Гродно ими был пущен под откос железнодорожный состав с живой силой и техникой, в Милосельцах — взорван склад с горючим, в Рожанах — с боеприпасами. С первым снегом получили, как говорится, по первое число и те, кто решил поработать на «новый порядок», то есть предатели.

Капитан службы безопасности Фауст доносил в те дни гродненскому уездному комиссару Плетцу, что случаи расправы с «работающими на нас элементами из местного населения участились», что партизаны у трупов предателей оставляют записки, в которых говорится: «Так будет с каждым, кто с немцами». Одновременно Фауст докладывал уездному комиссару, что и мирные жители не сидят сложа руки, исподволь готовятся к «восстанию против властей». И приводил пример: в сарае Иосифа Голонко (к сожалению, педантичный немец на этот раз забывает указать название деревни) обнаружен целый склад оружия — винтовки, гранаты, несколько ручных пулеметов и большой комплект боеприпасов. Надо полагать, что в эти же дни капитан службы безопасности испрашивает у Плетца особое разрешение на проведение жестоких мер против партизан и получает его, так как спустя два месяца, в начале марта, он сообщает тому же Плетцу, что «после имевших место

в январе и феврале мероприятий заметно понизилось движение банд[1] в доверенной батальону местности, появление организованных банд стало реже».

Карательные операции, проведенные силами резервных частей, полевой жандармерии и полиции, действительно заставили партизан на какое-то время стать осторожнее. Но не надолго. Как только немцы вернулись на свои опорные пункты и начало пригревать солнышко, партизаны снова взялись за оружие. Более того, если до этого их отряды действовали разрозненно, на свой страх и риск, то теперь, с приходом весны, они начали устанавливать связь между собой, объединяться и выступать общими силами. Вот что доносил в это время доктору Плетцу тот же капитан службы безопасности Фауст: «С наступлением более теплой погоды опять появились банды, которые стали еще более активными и решительными. Так же усилилась деятельность коммунистических элементов во многих местностях, имеют место тайные собрания, на которых население призывается к сопротивлению и присоединению к бандам. Предпосылка, что это движение сопротивления руководится из вышестоящего центра, является правдоподобным».

Что ж, капитан Фауст не ошибался.

VIII

На опушке леса показались два всадника, увешанные оружием. Даже за поясами у них торчало по паре гранат. Это были командир отряда Василий и сопровождавший его Иван. Они возвращались из Беловежской пущи, с партизанами которой еще зимой была установлена связь, а вчера достигнута договоренность о совместных боевых действиях. На опушке леса они осмотрелись: кажется, ничего подозрительного — и снова тронулись в путь, уже не лесом, а полем, на котором еще недавно лежал снег. Их разгоряченные кони, гнедой — Василия и серый, в яблоках — Ивана, точно приплясывая, нетерпеливо перебирали ногами, оставляя на влажной земле неглубокие вмятины.

Вдруг слева, из неглубокой балки, откуда меньше всего можно было ожидать опасности, выбил дробь

---

[1] Так немцы называл партизан.

пулемет, и гнедой, встав на дыбки, боком рухнул на землю. Каким-то чудом Василий успел высвободить из стремян ноги и, спрыгнув с седла, тут же с колена, по существу наугад, дал по немцам ответную очередь. Потом, уже метнувшись за круп коня, как за укрытие, вторую, третью — прицельные. Схватился было за автомат и Иван, но, не сделав почему-то и выстрела, вонзил в бока серого шпоры и повернул обратно к лесу. Василий это увидел не сразу, а лишь когда у него кончились в автомате патроны. По лицу его пробежала судорога. Понял: Иван его бросил. Значит, надеяться теперь не на кого, только на себя. И вдруг удивительное спокойствие овладело им. Не спеша, словно собираясь на прогулку, он вынул из-за пояса гранату, тщательно осмотрел ее, протер и, поднявшись во весь рост, с растегнутым воротом, без фуражки, с задымленным взглядом, твердым шагом пошел прямо на пулемет немцев...

Не успел доскакать до леса и Иван. Серый под ним тоже пал, сраженный пулей, и чубатый, очутившись на земле, весь в комьях липкой грязи, понял: это конец, спасения не будет. А жизнь он любил. Любил пуще всего на свете. И вот этой жизни сейчас подведут черту... Уже и немцы близко, вон они, совсем рядом, и Иван, вдруг отшвырнув автомат в сторону, торопливо поднял вверх руки.

* * *

Восьмого апреля 1942 года командир второй роты 91-го батальона обер-лейтенант службы безопасности Гумке докладывал из Крынок по телефону капитану Фаусту:

— Пленный сообщил важные данные. Он из партизанского отряда, командир которого нами убит в перестрелке. Отряд располагается на хуторе Иодичи, в одиночном доме. Это в пятнадцати километрах юго-восточнее Крынок. Их там немногим больше двадцати. Каков будет приказ?

— Выступать! И немедленно!

После, два дня спустя, капитан Фауст педантично донесет гродненскому уездному комиссару Плетцу буквально о каждом шаге этой операции. В частности, он сообщит: «...Обер-лейтенант службы безопасности Гумке

выступил со своей частью на грузовиках, вооруженный двумя легкими и семью обычными пулеметами, винтовками и ручными гранатами. Надо было пешком пройти восемь километров. В 4.30 часть прибыла на место. Дом находился на возвышенном месте с хорошим обзором во все стороны. Местность давала наступающим мало возможности для прикрытия... Обер-лейтенант Гумке распределил свои силы в следующем порядке: одна ударная группа, широко растянутая, приняла на себя заграждение с востока и юга. Из двух других частей были образованы две ударные с задачей: атаковать дом с двух безоконных сторон, с севера и запада...»

* * *

Борису снилась Бугульма, и когда истошный крик под окном — «немцы!» — и полоснувшая вслед автоматная очередь скинули его с нар, ему все еще казалось, что это на Заречной улице ребятишки продолжают свою обычную кутерьму, играя в «красных» и «белых». Лишь по привычке схватившись за автомат и ощутив его холодок, прозрел: это взаправду. Нашарив в темноте гранаты, он бросился к двери, ударом ноги распахнул ее и выскочил во двор. Стрельба неслась отовсюду. И слева и справа, и даже со стороны топкого, куда не решались забредать партизаны, болота. Ясно: окружили со всех сторон, не дураки. Мышеловка захлопнулась. Это подтвердил и тут же подскочивший к нему Петька. Это он стоял на посту и, заметив приближение немцев, поднял тревогу.

На дворе, как и в хате, было темно, но Борис, как свои пять пальцев знавший хутор, сразу отыскал глазами бревенчатый сруб колодца и, поманив за собой Петьку, кинулся под его защиту. И в тот же момент со стороны болота застучал пулемет, и ведро, висевшее над колодцем, почти у головы Бориса, с грохотом полетело вниз. Борис услышал даже, как оно шлепнулось об воду.

«В веревку, гады, угодили»,— сообразил он и, повернувшись к Петьке, полюбопытствовал:— А тебя не задело?

Петька отрицательно мотнул головой.

Тем временем из хаты выбежало еще пятеро партизан. Кто одет, а кто в одном исподнем. Потом еще

трое. Растерянные, видимо, плохо соображая, что к чему, они, как слепые котята, заметались по двору, пока Борис не заорал на них благим матом:

— Под сарай, дурни! Там оборону занимайте. Да живее. Не то вас всех сейчас покосят...

И вовремя: едва партизаны скрылись за дощатой дверью и заняли там позиции, со стороны болота вновь застучал пулемет, завьюжили автоматные очереди, а спустя немного показались и сами немцы. Человек двадцать. Хоронясь по кустам, они короткими перебежками приближались к хутору, видимо, намереваясь взять его приступом. Во всяком случае, так сейчас подумал Борис и, шепнув Петьке — не робей, парень! — резанул по мельтешившим в темноте фигурам длиннейшей очередью. Петька тоже пустил автомат в ход, ударив с Борисом почти одновременно. Подоспела помощь и из хаты, из бокового, единственного здесь, окна, выходившего как раз на восток. Кто-то из партизан установил там пулемет и тоже посылал в немцев одну очередь за другой. И немцы не выдержали, залегли, зато усилили натиск с противоположных сторон. Борис услышал, как там, за сараем и справа за хутором, вдруг в сплошной гул слились и треск автоматов, и разрывы гранат, и отчаянные крики людей. Так продолжалось минут пять, не меньше, потом как-то разом, точно оборвалось время, на хутор черной тенью легла тишина — глубокая, вязкая, почти ощутимая на вкус. Могло показаться даже, что никакой стрельбы, никакого боя и нечеловеческих воплей до этого вовсе не было, что это был просто-напросто бред, игра расстроенного воображения, и Борис, теперь ясно услышав, как часто и сильно бьется его сердце, начал было склоняться к этой мысли, но вскоре со стороны немцев, вернув его к реальности, вдруг прозвучал голос, прозвучал необычайно сочно и отчетливо:

— Эй, рус, сдавайсь! Хенде хох!

— Что-о-о? — наивно переспросил кто-то из партизан, явно разыгрывая из себя дурачка.

— Хенде хох! Сдавайсь! — повторил немец.

Как ни отчаянно было положение осажденных, но предложение это, да еще на ломаном русском языке, их почему-то так развеселило, что кто-то не выдержал и хохотнул:

— А куку с маком не хочешь?

В стане немцев этот ответ, видно, вызвал недоумение. Там долго молчали. Потом — снова тот же голос:

— А что есть куку?

И тогда хохот — дружный и неистовый, словно партизан щекотали под мышками,— потряс хутор. А только хохот смолк, понеслось наперебой — ядреное, соленое:

— Ползи, гад, сюда — покажем. Век не забудешь.

— Только запасные штаны не забудь.

— Ату его! Улю-лю-ю! Га-а!..

Поняв, что их дурачат, что ни о какой сдаче с этими дьяволами не может быть и речи, обозленные немцы открыли по хутору такую пальбу, что Борис, все еще с судорожно искривленным от хохота ртом, на этот раз подумал не без тревоги: теперь дадут прикурить. И верно, не успели партизаны отбить эту атаку, как немцы пошли во вторую. Причем опять со всех сторон сразу. И вот уже запылал сарай с его соломенной крышей. Занялась огнем и огромная куча хвороста у колодца, осветив далеко все вокруг: и колодец, где лежали Борис с Петькой, и двор, на который из сарая, с выпученными от жары глазами, уже один за другим выбегали партизаны, и лозняк вдоль болота, откуда, швыряя гранаты и строча из автоматов, как тени подбирались немцы. Одна из гранат лопнула так близко, что Борис невольно втянул голову в плечи и зажмурил глаза. Когда же он открыл их снова, Петька, этот вихрастый парнишка из Тулы, страстно мечтавший стать художником, был мертв. И через минуту полегли и те, что выскочили из сарая. На свою беду они попытались сквозь огонь прорваться к лесу. Лишь один из них, по имени Константин, каким-то чудом достиг опушки. Но и он вряд ли остался жив. Борис видел, как он часто хватался за ногу. Значит, ранен.

Огонь между тем, качая тени, сыпля искры, подобрался к колодцу. Борис почувствовал, как его стало припекать. Скривил губы: выкуривают, гады. Значит, пора уходить туда. В хату. К товарищам. Все веселее будет. Даже умирать. И еще раз прижав огнем к земле подбиравшихся немцев, вдруг, словно с трамплина, кинул свое тело к крыльцу, хватил дверь на себя.

— Пахомов, ты? — тут же окликнул его из глубины комнаты комиссар.

— Я самый,— переведя дух, отозвался тот.

— Вот и хорошо. Значит, нас уже четверо. Становись к окну. Сейчас, должно, снова попрут. Гранаты здесь, в ящике.

В хате, насколько Борис успел заметить, сам черт мог ногу сломать: у нар, в узком проходе, верно оттащенные наспех, лежали убитые. Не то четверо, не то пятеро. Чуть поодаль, у печки, еще трое.

Едва Борис успел припасть к подоконнику, как немцы предприняли новый отчаянный штурм, и опять, как в лихорадке, задрожали стены в хате, посыпалась труха с потолка, ходуном заходил пол. Гранаты теперь рвались уже под самыми окнами и на крыше, некоторые, было слышно, гулко стукались о завалинку. Неожиданно смолк пулемет, установленный в кухне и в свое время так хорошо поддержавший Бориса с Петькой: пулеметчик, рослый босой парень, раздирая руками грудь, грузно осел на пол, да так и застыл в этой позе. Мертв. Борис кинулся на его место, нащупал спусковой крючок — и полыхнула в ночь огненная метель. И тут же — раздирающий душу вопль. Это кто-то из немцев, уже достигший колодца, говорил жизни «прощай». А в следующий миг и сам Борис почувствовал, как его левое плечо нестерпимо обожгло. Сперва подумал, что это горящая головешка, залетевшая в окно либо в дверь, и какое-то время еще продолжал давить на гашетку пулемета. Но вот перед глазами его один за другим поплыли разноцветные круги, рыбьей чешуей заиграли блики, и он, чтобы не упасть, не потерять сознание, обеими руками схватился за косяк, зажмурил глаза. Снова открыть их его заставил почти тут же раздавшийся окрик под окном:

— Капут! Сдавайсь! — и что-то еще неразборчивое, уже по-немецки.

— Сейчас,— наливаясь спокойствием и выпрямляясь, чуть слышно ответил Борис и неторопливо, через плечо, глянул назад: там, в комнатушках, уже вовсю бушевал огонь, трещали доски и, словно давясь дымом, короткими очередями бил невидимый пулемет...

— Капут, рус, капут! Сдавайсь!..

— Сейчас, сейчас,— смахнув с лица пот и, будто успокаивая кричавшего, уже быстрее и громче повторил Борис и, рванув из кармана гранату, с силой пустил ее

в оранжевый проем окна, как раз на голос. И не услышал, скорее почувствовал, как завопили от ужаса немцы. И еще, что напоследок ощутил он, уже запрокидываясь назад и хватая руками воздух,— это вдруг разом рухнувший потолок и жаром дыхнувшее в лицо пламя.

* * *

В селе Большие Берестовицы, в одном из его тихих скверов, стоит на пьедестале скорбная фигура матери. С нею рядом, тоже в камне,— притихший сын. Смотрите, люди добрые, словно бы говорит мать, здесь, в этой земле спят мои дети. Много детей. В лихую годину испытаний они отдали за вас самое дорогое в жизни — жизнь. Остановитесь! И люди, проходящие мимо, останавливаются, в молчании снимают шапки.

На могилах нет имен. Герои остались безвестными. В том числе и те, что погибли в жестокой схватке с врагом в ночь с 8 на 9 апреля 1942 года на хуторе Иодичи и останки которых, почти четверть века спустя, благодарными жителями Берестовиц были перенесены оттуда сюда, в село, под тень деревьев, и торжественно, с почестями захоронены. И лишь случайно, имя одного из них удалось узнать. Это был уроженец Татарии, бугульминец Борис Пахомов.

О нем, о его товарищах я и рассказал, что узнал.

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Вячеславович Белостоцкий

НЕБО ХРАНИТ ТАЙНУ

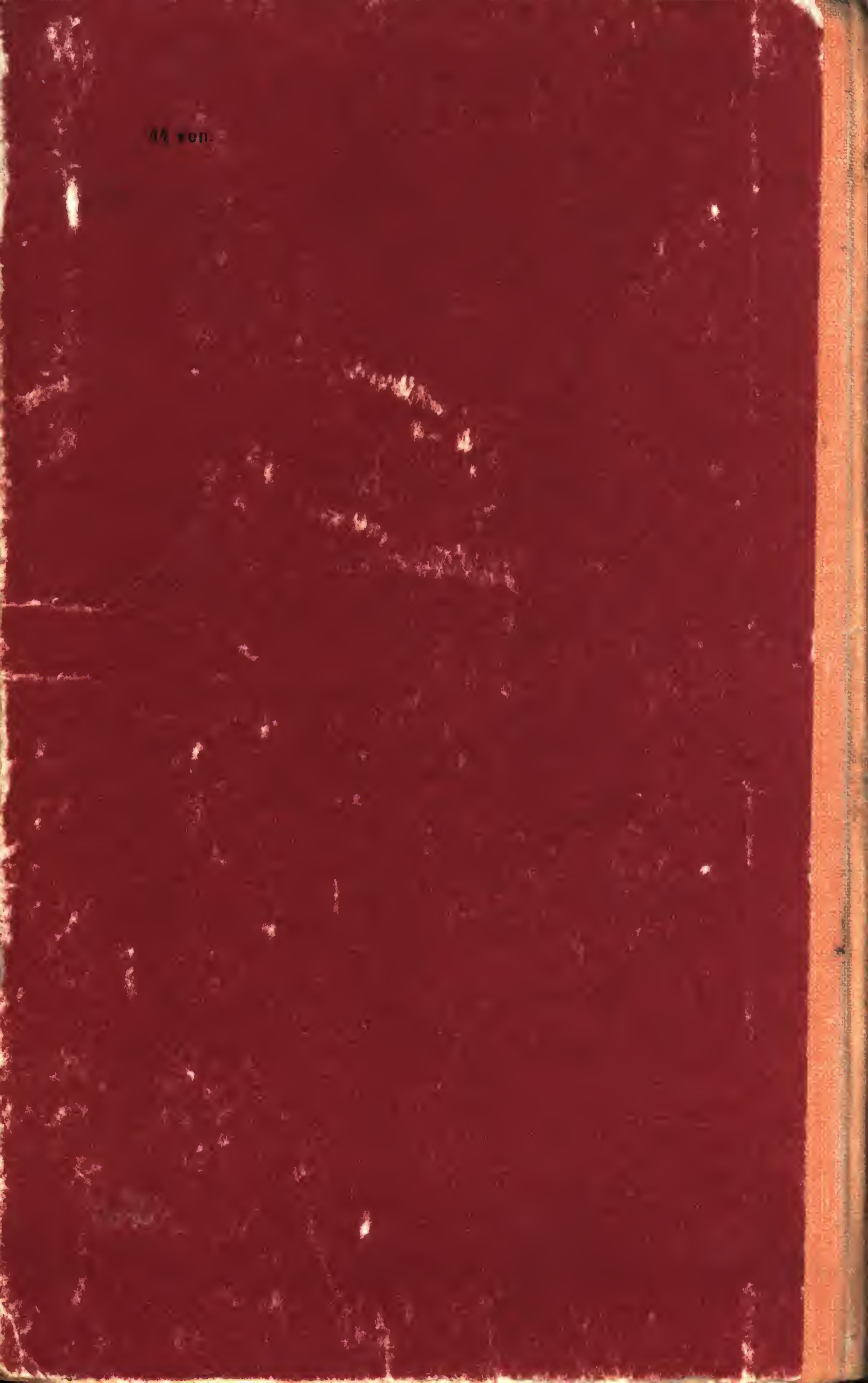
Редактор И. Ф. Киндер
Художник С. М. Кульбака
Художественный редактор А. Г. Садыков
Технический редактор Ф. Х. Абдурахманова
Корректор А. Х. Садыкова

Сдано в набор 8/XII-1971 г. Подписано в печать 28/II-1972 г. ПФ 04021. Типографская бумага № 3, 84×108 1/32. Учет-изд. листов 10,74. Условно-печатных листов 10,92. Заказ И-896. Тираж 100 000. Цена 44 коп.

Казань, ул. Баумана, 19. Таткнигоиздат.

Комбинат печати им. Камиля Якуба Управления по печати при Совете Министров ТАССР. Казань, ул. Баумана, 19.





44 коп.


ЮРИЙ БЕЛОСТОЦКИЙ
НЕБО ХРАНИТ ТАЙНУ